



ВИКТОР КРОСБИ

**ГОЛОС
МЕЖДУ
ХОЛМАМИ**

Голос между холмами

Виктор Кросби

Настоящее произведение является художественным. Все персонажи, события, организации и описанные обстоятельства либо полностью вымышлены, либо представлены в авторской художественной интерпретации. Любые совпадения с реальными людьми — живыми или умершими, а также с существующими или существовавшими организациями, компаниями и событиями являются случайными и не имеют намеренного характера.

Оглавление

Пролог

Глава 1. География счастья

Глава 2. Десять заповедей

Глава 3. Частота смеха

Глава 4. Чужой язык

Глава 5. Импорт железа

Глава 6. Песни Симона

Глава 7. Сигнал к буре

Глава 8. Бегство в никуда

Глава 9. Болото

Глава 10. Лицо мужа

Глава 11. Тишина дочери

Глава 12. Сто дней

Глава 13. Суд на траве

Глава 14. Анатомия лжи

Глава 15. Письмо из тюрьмы

Глава 16. Голос между холмами

Пролог

Дождь здесь всегда звучит одинаково. Он не знает истории. Он падает на жестяные крыши Кигали так же, как падал тридцать лет назад — тяжелый, ритмичный, заглушающий мысли. Я сижу у окна, и передо мной лежит чистый лист бумаги. Мои руки помнят, как держать ручку, но слова, которые я знала раньше, больше не подходят к этому миру.

Раньше я писала о том, как свет ложится на холмы в шесть утра. О запахе жареной кукурузы. О том, как смеются женщины на рынке, перекрикивая друг друга. Это был язык жизни, плотный и теплый, как глина. Теперь тот язык кажется мне иностранным. Я пытаюсь вспомнить его, но вместо слов приходят звуки. Треск статического электричества. Голос из динамика. Сухой щелчок металла о дерево.

Моя дочь сидит в соседней комнате. Она не спит, хотя уже поздно. Она смотрит в стену, и в ее молчании больше веса, чем во всех книгах, которые я когда-либо прочла. Ей было пять лет, когда мир раскололся. Сейчас она взрослая женщина, но ее голос остался там, в высокой траве, где мы лежали, боясь дышать. Она говорит только по необходимости, короткими, рублеными фразами. Я пишу за нас обеих.

Я пишу не для того, чтобы обвинить. Суды уже прошли, приговоры вынесены, тюрьмы заполнены, а некоторые уже и опустели. Я пишу, чтобы понять физику превращения. Как это происходит? В какой момент человек, который целовал твои пальцы и приносил тебе воду, начинает видеть в тебе не жену, а ошибку природы, которую нужно исправить?

Это не случилось в один день. Это не было взрывом. Это было похоже на то, как туман спускается в долину — медленно, мягко, пока ты не пересташь видеть собственные руки. Мы не заметили, как изменился воздух. Мы слушали радио. Мы смеялись над шутками. Мы думали, что слова — это просто ветер.

Мой муж, Жан, был хуту. Я — тутси. В нашем доме не было этих слов, пока их не принесли извне. Мы были просто мужчиной и женщиной, родителями, соседями. Но потом радиоприемник на кухонном столе стал третьим участником наших разговоров. Сначала он был гостем, потом хозяином.

Я смотрю на свои руки. На безымянном пальце остался след от кольца, хотя самого кольца нет уже много лет. Я продала его, чтобы купить тишину. Но тишину купить невозможно. Голоса все еще здесь. Голос Кантано Хабимана из радиоприемника. Голос Симона Бикинди, поющего о ненависти так сладко, что хотелось подпевать. И голос Жана, который однажды вечером сказал мне, не глядя в глаза: «Тебе лучше не выходить завтра. Так будет безопаснее».

Он не сказал «мы убьем вас». Он сказал «безопаснее». Забота. Это было самое страшное — убийство, упакованное в обертку заботы и гражданского долга.

Я начинаю писать, и дождь усиливается, словно пытаюсь смыть чернила. Но я должна зафиксировать это. Не кровь и не крики — их и так слишком много в архивах. Я хочу зафиксировать тихие вечера перед бурей. Шелест газетных страниц. Смех диджея. Момент, когда мой муж перестал быть Жаном и стал частью чего-то огромного и безликого. Я пишу, чтобы найти дорогу назад, к тем холмам, где голос человека значил больше, чем приказ из динамика.

Глава 1. География счастья

Я пишу это на бумаге, которая пахнет пылью и сухим временем. Мой стол стоит у окна, выходящего на восток, туда, где солнце каждое утро поднимается из-за холма Джали, словно проверяя, на месте ли мы. Словно удостоверяясь, что земля, впитавшая столько, сколько не должна впитывать ни одна почва в мире, всё ещё способна рожать траву.

Меня зовут Иммакуле, но Жан называл меня просто «Има». Это было коротко, как выдох. Когда он произносил это имя, в нём не было ни истории, ни политики, ни той тяжелой, липкой графы в паспорте, которая позже станет приговором. Было только имя. И я хочу начать с этого — с времени, когда имена принадлежали людям, а не спискам.

Руанда начала девяностых была страной, сотканной из зеленого цвета и голосов. Если вы никогда не были здесь до того апреля, вы не поймете, как звучал этот воздух. Он был плотным от приветствий. Люди здоровались долго, обстоятельно, спрашивая о

здоровье коров, о детях, о дождях, о родителях. Это был ритуал, связывающий нас в единую сеть. Мы жили внутри огромного, теплого организма, где каждый знал каждого, и казалось немыслимым, что одна часть этого тела может вдруг решить отсечь другую.

Наш дом стоял в районе Ньямирамбо, там, где улицы всегда полны жизни, а запахи жареного арахиса и древесного угля висят в воздухе до самой ночи. Это был маленький дом с жестяной крышей, которая во время сезона дождей превращалась в барабан. Мы с Жаном любили этот звук. Когда начинался ливень, стена воды отрезала нас от остального мира, и мы оставались одни в полумраке комнаты.

Жан был учителем истории в средней школе. У него были длинные, красивые пальцы, вечно испачканные мелом, и привычка поправлять очки, когда он задумывался. Он был хуту. Я — тутси. В те годы, когда мы познакомились и поженились, это различие существовало, но оно было похоже на разницу в росте или на то, что кто-то любит чай с молоком, а кто-то — черный. Это была данность, не требующая выводов.

Смешанные браки были нормой, частью ландшафта, такой же естественной, как эвкалиптовые рощи на склонах. Мы не были исключением. У нас были друзья, такие же пары: муж — хуту, жена — тутси, или наоборот. Мы собирались по выходным, пили пиво «Примус», жарили козлятину и спорили о футболе. Никто не смотрел на форму носа соседа, чтобы решить, наливать ли ему еще.

Я помню одно воскресенье за год до катастрофы. Мы сидели во дворе у наших соседей, Габриэля и Мари. Габриэль, грузный, шумный мужчина, рассказывал анекдот, размахивая шампуром. Жан смеялся так, что у него запотели очки. Я смотрела на него и думала о том, как мне повезло с этим смехом. Он был открытым, без задней мысли. Жан был человеком, который не умел прятать камни за пазухой. Его мир был понятен: школа, дом, наши книги, наша дочь.

Наша дочь, Лейя. Ей было семь лет. В то время она была соткана из вопросов и движения. Она не могла усидеть на месте, её колени вечно были в ссадинах, а в волосах застревали сухие травинки. Она была ребенком, который еще не знал, что мир может быть враждебным. Для неё соседи были просто «дядя Габриэль» или «тетя Мари», источники конфет и шуток, а не представители этнических групп.

— Мама, почему небо синее? — спрашивала она, дергая меня за юбку, пока я перебирала фасоль на крыльце. — Потому что океан отражается в нем, — отвечал вместо

меня Жан, выходя из дома с газетой. — Но у нас нет океана, папа! У нас только холмы! — Значит, это отражаются холмы, когда они мечтают стать морем.

Жан умел говорить так, что обыденность становилась магией. Он любил эту страну. Он учил детей истории древнего королевства, рассказывал о королях-мвами, о колонизаторах, о независимости. Но в его уроках, как я узнала позже, просматривая его тетради, никогда не было яда. Он верил в факты, а не в мифы.

В нашем доме всегда работало радио. Радиоприемник, старый, в деревянном корпусе, стоял на почетном месте на буфете, накрытый кружевной салфеткой. Это был центр нашего домашнего мира. Утром он будил нас бодрой музыкой, днем сообщал новости о ценах на кофе и чай, вечером передавал радиоспектакли. Радио было другом. Оно связывало нас с Кигали, с Бутаре, с далекими деревнями. Мы доверяли этому голосу из коробки. Если по радио сказали, что завтра будет дождь, мы брали зонты. Если сказали, что дорога на Гисеньи перекрыта из-за ремонта, мы меняли планы.

Мы не замечали, как постепенно менялась интонация. Это происходило так медленно, как растет ноготь. Сначала — просто больше новостей о политике. Потом — странные шутки ведущих, над которыми мы по инерции смеялись, хотя внутри оставался неприятный осадок. Но тогда, в начале девяностых, радио все еще было источником жизни, а не смерти. Мы танцевали под конголезскую румбу, звучащую из динамика, кружась на маленькой кухне, пока на плите кипел соус из сомбе.

Быт был простым и осязаемым. Я помню тяжесть корзины с продуктами, когда возвращалась с рынка Кимронько. Рынок был сердцем города. Там пахло спелым манго, сушеной рыбой, потом и красной пылью. Женщины в ярких китенге торговались до хрипоты, но это была веселая торговля, игра, в которой обе стороны получали удовольствие.

— Эй, сестра, посмотри на эти помидоры! Они красные, как закат! — кричала торговка. Я подходила, щупала упругие бока помидоров.

— Закат длится недолго, а мне нужно, чтобы они дожили до ужина, — парировала я. Мы смеялись. Я покупала помидоры, она добавляла пучок зелени в подарок. Мы были просто женщинами, кормящими свои семьи. Никто не спрашивал у меня удостоверение личности, чтобы продать мне картофель.

Но удостоверения были. Они лежали в ящике комода, под стопкой простыней. Маленькие книжечки, в которых чернилами было вписано то, что должно было определять нашу суть. У Жана — «хуту». У меня — «тутси». У Лейи, по закону, наследующему статус отца, — «хуту». Иногда, когда я убиралась и натыкалась на эти документы, меня кололо странное чувство. Словно эти бумажки знали о нас что-то, чего мы сами не хотели знать. Словно в них была зашифрована какая-то другая реальность, параллельная нашей любви, нашему быту, нашему общему дыханию во сне. Но я быстро закрывала ящик. В конце концов, это была просто бюрократия. Наследие бельгийцев, которые любили все измерять и классифицировать. Мы жили в современной Руанде, мы строили будущее, где эти записи должны были стать просто историческим курьезом. Так мы думали. Так думал Жан.

— Это просто статистика, Има, — говорил он, когда однажды я спросила, зачем это до сих пор пишут. — Государству нужно знать, кто есть кто, для переписи. Это не влияет на то, как я люблю тебя.

И он любил. Его любовь была тихой, деятельной. Она проявлялась в том, как он приносил мне теплую воду для умывания по утрам, когда было холодно. В том, как он чинил сандалии Лейи, склонившись над ними при свете керосиновой лампы, когда отключали электричество. В том, как он слушал мои рассказы. Я писала небольшие зарисовки о жизни холмов, о женщинах, плетущих корзины, о стариках, курящих трубки. Жан был моим первым читателем.

— Ты видишь красоту там, где другие видят просто пыль, — говорил он, снимая очки и протирая глаза. — Это дар, Има. Не теряй его.

Мы жили в пузыре счастья, который казался нам прочным, как камень. Но на самом деле он был хрупок, как яичная скорлупа. Мы не знали, что где-то в кабинетах уже чертятся схемы, что закупаются тысячи мачете, что составляются списки. Для нас «список» был тем, что я писала перед походом на рынок: соль, масло, мука, сахар.

Однажды вечером, незадолго до того, как все начало меняться, мы сидели на крыльце. Лейя уже спала. Ночь была огромной, наполненной стрекотом цикад. Вдали, на других холмах, мерцали огоньки — керосиновые лампы и костры. Казалось, что небо опрокинулось на землю, и звезды перемешались с огнями человеческих жилищ. Жан курил, выпуская дым в темноту.

— Знаешь, — сказал он вдруг, — мне предложили вступить в партию. Я напряглась. Политика была тем, что мы старались не пускать за порог.

— Зачем? — спросила я.

— Директор говорит, так будет лучше для карьеры. Сейчас время перемен. Многопартийность, демократия... Нужно быть активным.

— Ты учитель, Жан. Твоя активность — это твои ученики. Он помолчал, стряхивая пепел.

— Да, но времена меняются. Не хочется остаться на обочине. К тому же, там говорят правильные вещи. О развитии, о защите прав большинства. О том, что мы должны гордиться своей культурой.

— Чьей культурой? — тихо спросила я. Он повернулся ко мне, и в темноте я не увидела выражения его глаз, только блеск очков.

— Нашей, Има. Руандийской. Ты слишком мнительная.

Он затушил сигарету и обнял меня. Его руки были теплыми, знакомыми, родными. От него пахло табаком и мелом. Я прижалась к нему, отгоняя внезапный холод. Это был мой муж. Человек, который знал каждую родинку на моем теле. Человек, который плакал, когда родилась наша дочь. Не могло быть никакой «партии», которая стала бы между нами.

Мы пошли спать. В спальне было душно. Я долго лежала без сна, слушая ровное дыхание Жана и тихий свист ветра в щелях оконной рамы. Радио в гостиной было выключено, но мне казалось, что я слышу слабый гул, исходящий от него. Как будто внутри деревянного ящика, в сплетении проводов и ламп, уже зарождалось что-то, что ждало своего часа.

Я вспоминаю Жаклин, девочку с соседней улицы, подругу Лейи. Ей было девять. Она часто прибежала к нам играть. У нее была широкая улыбка и ямочки на щеках. В тот вечер, перед сном, Лейя сказала мне:

— Мама, Жаклин сказала, что ее папа купил новый большой нож. Чтобы рубить кустарник. Он очень острый и блестит.

— Это хорошо, — рассеянно ответила я, укрывая ее. — В хозяйстве нужен хороший инструмент.

— Да, — прошептала Лейя, закрывая глаза. — Только Жаклин сказала, что папа запретил ей трогать его. Он сказал, что это для работы. Для важной работы.

Я лежала в темноте и думала об этих словах. «Важная работа». В Руанде всегда было много работы. Земля требовала ухода. Но почему-то образ этого нового, блестящего ножа не выходил у меня из головы. Я повернулась к Жану, положила руку ему на грудь, чтобы почувствовать биение его сердца. Оно билось ровно, спокойно. Тук-тук. Тук-тук. Ритм жизни, который казался вечным.

Тогда мы еще не знали, что вещи могут менять свое назначение. Что радио может перестать петь и начать приказывать. Что соседи могут перестать быть соседями. Что удостоверение личности в ящике комода может стать важнее, чем десять лет совместной жизни. Мы были счастливы той слепой, доверчивой радостью, которая бывает только перед самым обрывом.

Я закрываю глаза и вижу тот последний мирный год. Я вижу, как Жан подбрасывает Лейю в воздух, и она визжит от восторга, а солнце золотит пыль вокруг них, создавая нимб. Это была география нашего счастья — маленькая точка на карте, ограниченная забором нашего двора, где не было ни хуту, ни тутси, а были только папа, мама и дочь.

Но в ящике комода, под белыми простынями, уже лежали документы. А на складах в Кигали, в деревянных ящиках, уже лежали другие инструменты, привезенные из далеких стран. И те, и другие ждали одних и тех же рук.

Глава 2. Десять заповедей

Слова всегда имели для меня вес, физический и осязаемый, как камни, из которых мы строим ограды, или как вода в кувшине. Я любила слова. Я собирала их, нанизывала на нить предложений, пробовала на вкус. «Умутузо» — покой. «Ихумире» — судьба. В моем мире слова служили мостами. Если ты мог назвать вещь, ты мог ее понять. Если ты мог описать чувство, ты мог его разделить.

Но в декабре 1990 года слова начали менять свою плотность. Они перестали быть мостами и начали превращаться в стены.

Я помню тот день, когда я впервые увидела этот журнал. Это было не в темном переулке и не на тайной встрече заговорщиков. Это было в центре Кигали, у газетного киоска, где пахло жареной кукурузой и выхлопными газами старых «тойот». Солнце стояло в зените, заливая асфальт белым, безжалостным светом. Я остановилась купить конверты — я все еще писала бумажные письма своей тетке в Бутаре — и мой взгляд упал на яркую, кричащую обложку.

«Кангура».

Название на киньяруанда означало «Разбуди их» или «Пробуждение». Само слово было резким, гортанным. На обложке был нарисован мачете, но тогда это показалось мне просто грубой карикатурой, безвкусицей, свойственной дешевой прессе. Я купила номер, скорее из любопытства, чем из тревоги. Хасан Нгезе, редактор, был известен в городе как эксцентричный персонаж, человек, который любил громкие заголовки и скандалы. Мы привыкли считать его кем-то вроде городского сумасшедшего с печатным станком.

Я принесла журнал домой. Жан еще был в школе. Лейя играла во дворе, строя домики из веток и грязи. Я села за кухонный стол, налила себе стакан воды и открыла страницу, от которой пахло дешевой типографской краской — едкий, химический запах, который навсегда останется для меня запахом начала конца.

Заголовок гласил: «Десять заповедей хуту».

Я читала, и буквы начинали расплываться, словно написанные на воде. Сначала мне показалось, что это какая-то злая шутка, сатира. Текст был настолько гротескным, настолько пропитанным ядом, что разум отказывался воспринимать его всерьез. Но чем дальше я читала, тем холоднее становилось у меня внутри. Это был не просто текст. Это была инструкция по пересборке мира.

«Заповедь первая: Каждый хуту должен знать, что женщина-тутси, где бы она ни была, работает в интересах своей этнической группы. Следовательно, предателем является любой хуту, который женится на женщине-тутси, заводит дружбу с женщиной-тутси или нанимает женщину-тутси в качестве секретарши или наложницы».

Я перечитала это дважды. Мои пальцы, державшие шершавую бумагу, побелели. Я была женщиной-тутси. Мой муж был хуту. Согласно этому тексту, лежащему на моем обеденном столе, наш брак был не союзом двух любящих людей, а актом предательства.

Наша любовь объявлялась государственной изменой. А я сама — не женой, не матерью, не писателем, а «агентом влияния», опасной соблазнительницей, использующей свое тело для разрушения нации.

Я встала и подошла к зеркалу, висевшему в прихожей. Из стекла на меня смотрела обычная женщина. Усталые глаза, немного выющиеся волосы, собранные в пучок, морщинка на лбу. Где в этом отражении пряталась та роковая, коварная сила, о которой писал Нгезе? Где была шпионка? Я видела только Иммакуле, которая забыла купить соль и переживала, что у дочери насморк.

Но текст в журнале утверждал, что мои глаза лгут. Что моя сущность — это не то, что я делаю или думаю, а то, кем я родилась.

«Заповедь четвертая: Каждый хуту должен знать, что все тутси нечестны в бизнесе. Их единственная цель — превосходство их этнической группы».

«Заповедь восьмая: Хуту должны перестать жалеть тутси».

Эта фраза ударила меня сильнее всего. «Перестать жалеть». Жалость, сострадание, эмпатия — это то, что делает нас людьми. Это клей, удерживающий общество от распада. Нгезе и его «Кангура» не просто призывали к насилию, они предлагали удалить способность сопереживать соседу только потому, что у него другая запись в удостоверении личности.

Вечером пришел Жан. Он был уставшим, его рубашка прилипла к спине от жары. Он поцеловал меня в щеку — привычный, автоматический жест, в котором было столько тепла, что мне захотелось заплакать. Я молча протянула ему журнал.

Он взял его, поправил очки и сел на стул. Я наблюдала за его лицом. Я искала тень сомнения, тень согласия, тень того чужого, что могло бы откликнуться на этот зов. Жан читал быстро. Его брови поползли вверх, потом сдвинулись к переносице. Наконец, он фыркнул и бросил журнал на стол, словно это была грязная тряпка.

— Мусор, — сказал он коротко. — Нгезе совсем выжил из ума. Кто это будет читать?

— Это продается в центре города, Жан. Люди покупают это. Я видела, как мужчина в костюме читал это в автобусе.

— Има, — он снял очки и потер переносицу, жест, который я так любила. — Это политика. Грязная, дешевая политика. Сейчас время перемен, много партий, каждый кричит, чтобы его услышали. Нгезе просто хочет внимания. Он маргинал. Ни один нормальный человек не воспримет эти «заповеди» всерьез. Посмотри на нас. Посмотри на Габриэля и Мари. Разве кто-то из нас думает об этом бреде?

— Там написано, что ты предатель, потому что женился на мне, — тихо сказала я.

Жан встал, подошел ко мне и взял мои руки в свои. Его ладони были сухими и горячими.

— Я женился на женщине, которую люблю. И никакая газетенка этого не изменит. Выбрось это. Не отравляй наш дом.

Я послушалась. Я скомкала журнал и бросила его в мусорное ведро. Бумага сопротивлялась, шуршала, пытаясь распрямиться. Мы поужинали, поговорили о школе, о том, что нужно починить крыльцо. Жизнь вернулась в свое русло. Но ночью, когда Жан уснул, я лежала с открытыми глазами и слушала темноту.

Я думала о том, что слова, однажды напечатанные, начинают жить своей жизнью. Они не исчезают, когда ты выбрасываешь бумагу. Они остаются в воздухе, как невидимая пыль. «Заповеди» были написаны. Они были сформулированы. Кто-то сидел за печатной машинкой, подбирал выражения, редактировал, верстал. Кто-то утверждал макет. Кто-то вез тираж в типографию. Это была целая индустрия, работающая на создание ненависти. И если Жан считал это бредом сумасшедшего, то кто-то другой мог счесть это откровением.

В следующие недели я стала замечать «Кангуру» повсюду. Оранжевые обложки мелькали в руках прохожих, лежали на столиках в кафе, торчали из карманов. Я начала прислушиваться к разговорам на рынке. Раньше я слышала только цены и сплетни. Теперь я начала улавливать новые интонации.

— Эти высокомерные... — обрывок фразы у прилавка с овощами.

— Они всегда хотят забрать все себе... — шепот в очереди на автобус.

— Нужно быть осторожнее с ними, ты же читал... — многозначительный кивок в сторону женщины высокого роста.

Яд просачивался медленно. Это не было наводнением, это была сырость, которая проступает на стенах. Люди не стали врагами в одночасье. Моя соседка, добрая женщина, которая всегда угощала Лейю печеньем, однажды спросила меня с странной, виноватой улыбкой:

— Иммакуле, а правда, что у вас, тутси, есть тайные собрания? В газете писали, что вы планируете вернуть монархию.

Я замерла с корзиной белья в руках.

— Мари, ты же знаешь меня десять лет. Какие собрания? Я пишу рассказы о дожде.

Она смутилась, отвела глаза.

— Да, конечно. Я просто спросила. Там так убедительно написано... Про планы, про захват власти. Говорят, дыма без огня не бывает.

«Дыма без огня не бывает». Эта пословица стала самым страшным оружием. Она позволяла оправдать любую ложь. Если об этом пишут, значит, что-то есть. Газета не может врать полностью, правда? Печатное слово в Руанде имело сакральный статус. Книга, документ, газета — это было что-то, идущее сверху, от умных людей, от власти. Если это напечатано черным по белому, это приобретает вес факта.

Хасан Нгезе знал это. Он знал, что страх продается лучше, чем надежда. Он создал образ врага не из пустоты, а из старых предрассудков, обид и комплексов, раздув их до масштабов экзистенциальной угрозы. Он сказал хуту: «Вас хотят уничтожить. Ваша бедность — это их вина. Ваша неуверенность — это их план». И самое страшное — он дал этому моральное обоснование. Ненависть перестала быть грехом, она стала добродетелью, формой самозащиты. «Заповеди» освобождали от совести.

Я продолжала писать свои зарисовки, но слова давались мне все труднее. Как я могла описывать красоту холмов, когда знала, что по этим холмам теперь гуляет текст, называющий меня ошибкой? Я смотрела на свои руки и думала: неужели в них есть что-то опасное? Я смотрела на свою дочь, которая училась читать, и меня охватывал ужас. Что она прочитает, когда вырастет? В каком мире она будет жить?

Однажды Жан пришел домой мрачнее обычного. Он не поцеловал меня, просто кивнул и прошел в спальню. Я нашла его сидящим на краю кровати, с головой, опущенной в ладони.

— Что случилось? — спросила я, садясь рядом.

— В учительской, — глухо сказал он. — Сегодня обсуждали статью Нгезе.

— И что? — Двое коллег сказали, что в этом есть смысл. Что исторически тутси всегда угнетали хуту и что нужно быть бдительными, чтобы это не повторилось.

— Но это же учителя, Жан! Образованные люди!

— Они сказали, что я слеп, потому что женат на тебе. Что ты меня... околдовала.

Он произнес это слово с отвращением, но я почувствовала, как между нами пробежал холодок. «Околдовала». Это было из того же словаря, что и «шпионка», «соблазнительница». Мистический, иррациональный страх перед женщиной-тутси.

— А ты? Что ты сказал? — спросила я, и мой голос дрогнул.

— Я сказал им, чтобы они заткнулись и учили детей математике, а не политике. Мы поссорились.

Он обнял меня, но я почувствовала, как напряжены его мышцы. Впервые внешний мир вошел в нашу спальню не как шум дождя, а как грязный сапог. Жан защищал меня, но ему пришлось защищать меня от своих же коллег, от людей, с которыми он пил чай годами. «Заповеди» начали работать. Они заставили его оправдываться за то, что он любит свою жену. Они превратили его личную жизнь в политическое заявление.

Я вспомнила восьмую заповедь: «Хуту должны перестать жалеть тутси». Это было начало дегуманизации. Чтобы убить человека, нужно сначала перестать видеть в нем человека. Нужно превратить его в символ, в функцию, в угрозу. Газета «Кангура» делала именно это. Она стирала лица. Она превращала миллион живых, дышащих людей в одну безликую массу под названием «Враг».

В то время мы еще не знали, к чему это приведет. Мы думали, что это просто слова. Злые, жестокие, несправедливые, но всего лишь слова на дешевой бумаге. Мы не знали, что слова — это семена. И что почва уже подготовлена, удобрена страхом и нищетой, и ждет только дождя, чтобы эти семена проросли.

Я вышла на крыльцо. Ночь была тихой. Холмы спали, укрытые туманом. Где-то далеко лаяла собака. Мир казался прежним. Но я знала, что под покровом этой тишины, в тысячах домов, на столах лежат журналы с оранжевой обложкой. И люди читают их

при свете керосиновых ламп. И с каждой прочитанной строкой невидимая трещина между нами становится шире.

Я посмотрела на свои руки. В темноте они казались серыми, бесцветными. Ни хуту, ни тутси. Просто руки человека, который хочет жить. Но где-то в типографии уже печатался новый тираж, и краска на нем еще не высохла.

На следующее утро я нашла у нашего порога скомканный лист газеты. Ветер принес его или кто-то бросил специально — я не знала. Я не стала его разворачивать. Я просто перешагнула через него, отводя дочь в школу. Но я чувствовала его присутствие спиной, как взгляд. Бумага шуршала на ветру, словно сухая змеиная кожа, сброшенная кем-то, кто только начинает расти.

Глава 3. Частота смеха

Июль 1993 года пришел в Кигали не с грохотом орудий, а с новой мелодией. Если бы вы спросили меня тогда, как звучит угроза, я бы представила себе вой сирены или лязг затвора. Я никогда бы не подумала, что угроза может звучать как модный хит конголезского сукуса, от которого ноги сами просятся в пляс.

До этого момента эфир над нашими холмами был стерильным и чопорным. Государственное «Радио Руанда» напоминало строгого школьного учителя, который говорит только по делу, тщательно подбирая слова, и никогда не улыбается. Там читали официальные сводки, передавали скучные правительственные сообщения и транслировали музыку, одобренную министерством культуры. Это было радио для того, чтобы знать, но не для того, чтобы чувствовать.

Но в то лето кто-то повернул ручку настройки, и город наполнился смехом.

Новая станция называлась RTLМ — «Свободное радио и телевидение тысячи холмов». Само название звучало как обещание. Слово «свободное» пьянило. Оно врвалось в открытые окна машин, выплескивалось из дверей баров в Ньямирамбо, звучало на рынках и в парикмахерских. Это было радио, которое говорило голосом улицы.

Я помню день, когда Жан принес домой новый приемник — маленький, на батарейках, в блестящем черном корпусе. Он поставил его на кухонный стол, отодвинув в сторону корзину с фруктами, и с видом заговорщика начал крутить колесико. Сквозь треск статики прорвался энергичный голос ведущего, перекрываемый ритмичными гитарными риффами.

— Послушай, Има! — глаза Жана блестели. — Наконец-то кто-то говорит как нормальные люди. Без этого французского пафоса, без галстуков. Это радио для нас.

Ведущий в динамике шутил. Он говорил на сочном, быстром киньяруанда, проглатывая окончания, используя сленг, который можно было услышать в кабаках, но никогда — в эфире. Он передавал приветы водителям такси, торговцам углем, студентам. Он создавал иллюзию, что сидит не в студии за пуленепробиваемым стеклом, а прямо здесь, на твоей кухне, с бутылкой пива в руке.

— Это Кантано Хабимана, — объяснил Жан, отбивая такт пальцами по столешнице. — Он гений. Он говорит то, о чем все думают, но боятся сказать.

Я слушала, нарезаю овощи. Музыка была хорошей. Это была та самая музыка, под которую мы танцевали на свадьбах, музыка, которая заставляла кровь бежать быстрее. Но между песнями, вплетенные в шутки и приветствия, проскальзывали странные фразы. Они были похожи на маленькие иголки, спрятанные в мягкой вате.

«Эй, вы там, на холмах! Будьте бдительны! Мы знаем, что соседи могут улыбаться, но что они прячут за спиной?» — весело кричал Кантано, и тут же ставил популярную песню Боба Марли.

Секрет RTLM был не в ненависти. Если бы они начали с прямых призывов к убийству, большинство людей, включая моего мужа, выключили бы приемник. Секрет был в развлечении. Это было шоу. Яркое, талантливое, современное шоу. Они смешивали яд с медом в такой пропорции, что горечь почти не чувствовалась.

Жан, как и многие его коллеги-учителя, нашел в этой станции нечто большее, чем просто музыку. Для него это было интеллектуальное оправдание его смутных тревог. RTLM не было сборищем маргиналов. За ним стояли люди с учеными степенями, историки, профессора.

— Ты знаешь, кто один из основателей? — спросил меня Жан однажды вечером, когда мы сидели на веранде. Радио, как обычно, работало фоном. — Фердинанд

Нахимана. Он историк, Има. Доктор наук. Он учился в Париже. Разве такой человек может говорить глупости?

Имя Нахиманы действовало на Жана магически. Для школьного учителя истории фигура университетского профессора была непререкаемым авторитетом. Нахимана придавал радиостанции вес. Он превращал базарные сплетни в «историческую правду», а уличные оскорбления — в «защиту культурного кода».

— Он просто объясняет, что большинству пора перестать стыдиться себя, — продолжал Жан, поправляя очки. — Мы слишком долго жили с опущенными головами. Нахимана говорит, что демократия — это власть большинства. А мы — большинство. Это просто математика, Има.

Я смотрела на мужа и видела, как меняется его осанка. Он расправлял плечи. Голос из радиоприемника давал ему чувство значимости. RTLМ постоянно повторяло: «Вы, народ большинства, вы — настоящие хозяева этой земли». Это была лесть, самая грубая и действенная форма манипуляции. Каждому маленькому человеку, каждому бедняку, каждому, кто чувствовал себя обделенным, радио говорило: «Ты велик. Ты важен. А твои проблемы — это не твоя вина. Это вина *тех*, других».

«Те» никогда не назывались людьми. В эфире RTLМ слово «тутси» постепенно заменялось другими словами, более скользкими, более отвратительными. Но это происходило так плавно, так весело, что казалось частью игры.

— Иньензи! — хохотал ведущий. — Эти тараканы опять что-то замышляют в своих норах! Но мы их видим, правда, друзья? Мы не дадим им испортить наш праздник!

Жан смеялся.

— Это просто метафора, Има, — говорил он, видя, как я вздрагиваю. — Не будь такой серьезной. Это уличный язык. Никто не собирается никого давить. Просто тараканы — они назойливые, понимаешь? Они лезут везде. Это смешно.

Смех. Вот что было самым страшным. Не крики ярости, а смех. RTLМ научило страну смеяться над дегуманизацией. Когда ты смеешься над кем-то, ты перестаешь его бояться, но ты также перестаешь ему сопереживать. Смех создает дистанцию. Смех проводит черту: мы здесь, мы смеемся, мы живые и веселые, а они там — смешные, жалкие, неприятные насекомые.

Аудитория радиостанции росла с пугающей скоростью. Если раньше в автобусе люди читали газеты или дремали, то теперь водители включали RTLМ на полную громкость, и весь салон превращался в клуб единомышленников. Пассажиры переглядывались, кивали в такт музыке, обменивались комментариями, когда ведущий отпускал очередную остроту в адрес оппозиции или тутси.

Я помню поездку на рынок в конце 1993 года. Я сидела в маршрутке, зажатая между полной женщиной с корзиной кур и молодым парнем в футболке с портретом президента. Из динамиков лился голос Валери Бемерики, еще одной звезды эфира. Она говорила быстро, захлебываясь от возбуждения, словно делилась сплетней с лучшей подругой.

— О, вы только посмотрите на этих высоких женщин с их длинными носами! — вещала она. — Они ходят так, будто земля принадлежит им. Но мы-то знаем, кому принадлежит земля, верно? Не позволяйте их красоте обмануть вас. Змея тоже красива, пока не укусит.

Парень рядом со мной хмыкнул.

— Точно сказано, — пробормотал он, и его взгляд скользнул по моему лицу. Я отвернулась к окну, чувствуя, как горят щеки. Я была высокой. У меня был тот самый нос. Впервые в жизни я почувствовала себя голой в одежде. Радио сорвало с меня защиту анонимности. Оно превратило мои черты лица в улики. И все в этом автобусе, объединенные голосом Бемерики, внезапно стали судьями.

Но самым болезненным было то, как радио меняло атмосферу в нашем доме. Раньше вечера были временем тихих разговоров. Теперь они стали временем прослушивания. Жан не хотел пропускать эфиры. Он говорил, что там сообщают то, о чем молчит официальное радио.

— Они говорят правду о том, что происходит на границе, — аргументировал он. — О планах РПФ. О том, что они хотят вернуть феодализм и снова сделать нас рабами. Нахимана знает документы. Он цитирует источники.

— Жан, но они называют людей грязью, — пыталась возразить я. — Разве историк может так говорить?

— Это война, Има. Пусть пока информационная, но война. На войне не выбирают выражений. И потом, они такие забавные! Вчера Кантано рассказывал, как один тутси пытался купить корову...

И он пересказал мне анекдот. Он был злым, унижительным, построенным на стереотипах о жадности и хитрости. Но Жан рассказывал его с улыбкой, ожидая, что я тоже улыбнусь. И когда я не улыбнулась, в его глазах мелькнуло раздражение. — Ты теряешь связь с реальностью, — бросил он. — Ты закрываешься в своем мирке. А народ живет этим.

RTLМ стало фоном нашей жизни. Мы ели под него, мы убирали дом под него, мы засыпали под него. Оно было вездесущим. Его нельзя было выключить, потому что даже если ты выключал свой приемник, звук доносился из дома соседа, из проезжающей машины, из открытого окна магазина. Город пульсировал в ритме этого радио.

Это была технология создания «своих». Ведущие постоянно использовали слово «мы». «Мы, народ», «мы, большинство», «наше радио», «наша правда». Это «мы» было теплым, уютным, безопасным. Оно приглашало войти, стать частью большой, сильной семьи. Но условием входа было признание существования «их» — врагов, чужаков, тараканов. Нельзя было быть «мы» без ненависти к «ним».

Жан хотел быть частью «мы». Он боялся остаться снаружи. Он был учителем, интеллигентом, но в душе он оставался тем мальчиком с холмов, который хотел, чтобы его приняли в игру старшие. Фердинанд Нахимана и его команда дали ему этот билет. Они сказали: «Ты один из нас, ты хозяин, ты прав». И Жан принял этот дар с благодарностью.

Однажды я зашла в комнату Лейи. Она сидела на полу и рисовала. Рядом с ней лежал тот самый черный приемник, который Жан забыл забрать. Из динамика звучала веселая песенка. Лейя, моя маленькая дочь, тихонько подпевала, не понимая слов, просто повторяя мелодию. Я прислушалась к тексту. Это была песня Симона Бикинди. Мелодия была легкой, танцевальной, но слова... Слова говорили о том, что нужно быть осторожным с соседями, что нельзя доверять тем, кто выглядит иначе.

Я выключила радио. Резко, почти ударив по кнопке.

— Мама, почему? — удивилась Лейя. — Хорошая песня. Папа ее поет.

— Папа ошибается, — сказала я, и мой голос дрогнул. — Это плохая песня. Она учит злым вещам.

— Но она веселая, — пожала плечами дочь.

В этом и была суть катастрофы. Зло пришло к нам не в черном плаще с косой. Оно пришло в яркой рубашке диджея, пританцовывая, подмигивая и рассказывая скабрёзные анекдоты. Оно заставило нас поверить, что ненависть — это весело. Что унижение другого — это форма патриотизма. Что страх — это просто благоразумие.

Я смотрела на молчащий приемник. Черный пластиковый ящик, сделанный где-то в Азии, работающий от двух батареек. Техническое устройство. Набор микросхем и проводов. Но в тот момент он казался мне алтарем нового божества, которое требовало жертв, но пока соглашалось принимать их в виде совести и здравого смысла.

Вечером Жан искал приемник.

— Куда он делся? — спрашивал он, роясь в вещах. — Скоро начнется передача, там обещали рассказать про списки неблагонадежных в Кигали.

— Я убрала его, — сказала я. — Лейя слушала гадости.

Жан посмотрел на меня долгим, тяжелым взглядом. В этом взгляде уже не было той теплоты, с которой он смотрел на меня год назад. Там было что-то новое — смесь жалости и отчуждения.

— Ты не можешь спрятать реальность в шкаф, Има, — сказал он холодно. — Радио говорит то, что есть. Если тебе не нравится зеркало, не вини его.

Он нашел приемник, включил его и вышел на крыльцо. Через минуту я услышала, как он смеется. Громко, искренне. Там, в эфире, кто-то снова пошутил над «тараканами». И мой муж, мой любимый Жан, смеялся вместе с тысячами других мужчин на тысячах холмов, объединенных одной частотой — частотой, на которой совесть переставала принимать сигнал.

Ночь опустилась на город, но тишины не было. Холмы гудели. Эфир был плотным, наэлектризованным. Казалось, если чиркнуть спичкой, воздух взорвется. Но пока никто не чиркал. Пока все просто танцевали.

Глава 4. Чужой язык

Слова всегда были моим ремеслом, моим хлебом и моим убежищем. Я знала их вес, их текстуру, их вкус. Я знала, что слово «имвура» — это не просто дождь, это благословение, падающее с неба, чтобы напоить холмы. Я знала, что слово «амахоро» — мир — звучит мягко, как выдох спящего ребенка. Но в те месяцы, предшествовавшие апрелю, я стала свидетелем того, как слова начали болеть. Они мутировали, как клетки, пораженные вирусом, меняя свой смысл, свою суть, пока не превратились в нечто совершенно иное, острое и ядовитое.

Это происходило не в словарях и не в академических залах. Это происходило на кухнях, в очередях за углем, на школьных дворах. Язык, на котором мы говорили веками, язык, объединявший нас, начал расслаиваться. Появился новый лексикон, словарь, который не требовал перевода, но требовал отказа от памяти.

Первым изменилось слово «сосед». Раньше оно означало того, кто одолжит тебе соль, кто присмотрит за твоим домом, пока ты в отъезде. Теперь «сосед» все чаще произносилось с интонацией подозрения. К нему добавлялись прилагательные: «надежный» или «подозрительный». И эта надежность измерялась не поступками, а происхождением.

Но самым страшным было появление слов, которые вовсе не должны были применяться к людям.

Я помню вечер, когда Жан вернулся с работы с новой папкой для бумаг. Он был возбужден, его движения были резкими, дергаными. Он сел за стол, даже не переодевшись, и начал перебирать какие-то листовки.

— Ты знаешь, Има, — сказал он, не глядя на меня, — мы слишком долго жили в иллюзиях. Мы игнорировали биологию.

— Биологию? — переспросила я, ставя перед ним тарелку с рагу. — Ты историк, Жан. При чем тут биология?

— История и биология связаны, — он поднял палец вверх, жест, который он часто использовал на уроках. — Посмотри на природу. Каждый вид защищает свою территорию. Если в улей проникают чужаки, пчелы их изгоняют. Это закон выживания.

Я замерла. В его голосе звучала холодная, рассудочная логика. Это не была ярость пьяного. Это была лекция.

— О ком ты говоришь, Жан? Кто чужаки?

Он посмотрел на меня поверх очков. В его взгляде на секунду мелькнуло что-то похожее на жалость, смешанную с брезгливостью.

— Ты знаешь, о ком. О тех, кто пришел сюда со своими стадами, кто захватил власть, кто веками пил кровь большинства. О пришельцах.

«Пришельцы». Это слово ударило меня под дых. Моя семья жила на этих холмах столько же поколений, сколько и семья Жана. Наши предки пили воду из одних ручьев, хоронили своих мертвых в одной земле. Но теперь, согласно новой грамматике, я и моя дочь стали туристами, засидевшимися гостями, злоупотребившими гостеприимством хозяев.

— Мы родились здесь, Жан, — тихо сказала я. — Лейя родилась в этом доме.

— Рождение на земле не делает тебя частью почвы, — отрезал он фразой, которую явно не придумал сам. Это была цитата. Заученная, гладкая, как галька, фраза из радиоэфира или партийной брошюры. — Корни важнее места рождения. А ваши корни — не здесь. Вы пришли с Нила. Вы — инородное тело.

Я смотрела на него и не узнавала. Передо мной сидел мой муж, человек, с которым я делила постель, но говорил он голосом Фердинанда Нахиманы. Он говорил на языке, который исключал возможность диалога. Если я — «инородное тело», то со мной не нужно договариваться. Меня нужно удалить. Как занозу. Как опухоль.

Именно тогда в наш быт окончательно вошло слово «иниензи». Тараканы.

Сначала оно звучало только из приемника, как грязная шутка. Но постепенно оно переползло через порог нашего дома. Жан начал использовать его в телефонных разговорах с коллегами.

— Да, эти иниензи совсем обнаглели... Конечно, нужно быть начеку, тараканы любят темноту...

Я вздрагивала каждый раз, когда слышала это. Слово было липким, мерзким. Оно вызывало физическое отвращение. Но Жан произносил его легко, между глотками чая, между обсуждением футбольного матча.

— Не называй так людей, — попросила я однажды, когда не смогла больше сдерживаться. Он удивленно поднял брови.

— Это просто слово, Има. Метафора. Оно точно описывает их поведение. Они скрытные, они вредители, их много, и их трудно вывести. Почему ты принимаешь это на свой счет? Ты — моя жена. Ты — исключение.

«Исключение». Еще одно слово-ловушка. Оно позволяло ему любить меня и ненавидеть мой народ одновременно. Оно создавало в его голове безопасный отсек, где жила я, отделенная от массы «тараканов». Но я понимала, что исключения существуют только до тех пор, пока правило не станет абсолютным.

Дегуманизация не происходит мгновенно. Это процесс стирания черт. Сначала ты лишаешь человека истории, называя его пришельцем. Потом ты лишаешь его имени, называя его группой. Потом ты лишаешь его человеческого облика, называя его насекомым. И когда этот путь пройден, убийство перестает быть убийством. Нельзя убить таракана — его можно только раздавить. Это не преступление, это санитарная мера. Уборка.

Я видела, как это работает на улицах. Я шла на рынок и замечала, как меняются взгляды. Мужчины, сидевшие у баров, больше не смотрели на проходящих женщин — тутси с интересом или уважением. Они смотрели на нас как на проблему, которую нужно решить. Как на грязь на ботинке.

— Смотри, как идет, — услышала я однажды шепот за спиной.

— Высокомерная. Думает, что она королева. Ничего, скоро мы подрежем эти длинные ноги.

«Подрезать». «Валить высокие деревья». «Работа». Словарь насилия маскировался под словарь сельского хозяйства. Убийство называлось «работой» (gukora). Это придавало грядущему кошмару оттенок обыденности, трудовой доблести. Убить человека — грех. Выполнить работу — долг. Очистить поле от сорняков — необходимость.

Жан все глубже погружался в эту лингвистическую трясины. Он приносил домой газеты, где карикатуры изображали тутси в виде змей, крыс или насекомых с человеческими головами. Он не прятал их от Лейи.

— Пусть знает правду, — говорил он. — Она должна понимать, в каком мире живет.

— Она наполовину тутси, Жан! — кричала я шепотом, чтобы не разбудить дочь. — Ты учишь ее ненавидеть половину самой себя!

— Она хуту по отцу! — рявкал он в ответ, и его лицо наливалось кровью. — У нее моя кровь, моя фамилия и моя защита. Если она будет знать, кто враг, она будет в безопасности.

Однажды Лейя пришла из школы тихая, задумчивая. Она села делать уроки, но карандаш застыл в ее руке.

— Мама, — спросила она, не поднимая головы, — а правда, что у инииензи кровь другого цвета? У меня похолодело внутри. Я опустилась перед ней на колени, взяла ее маленькие ладони в свои.

— Кто тебе это сказал, милая?

— Мальчики в школе. Они сказали, что если порезать инииензи, то потечет не красная кровь, а зеленая, как у жуков. И поэтому их не жалко.

Я прижала ее к себе, чувствуя, как дрожат мои руки. Я хотела закричать, хотела пойти в школу и разнести этот класс, хотела вытрясти душу из учителя. Но я знала, что это бесполезно. Школа, улица, радио — все они говорили на одном языке. Языке, который превращал живых людей в биологический мусор.

— Это ложь, Лейя, — прошептала я ей в волосы. — У всех людей кровь красная. И когда им больно, они плачут одинаково. Никогда не верь тем, кто говорит иначе.

Вечером я рассказала об этом Жану. Я надеялась, что это его отрезвит. Что он ужаснется тому, что слышит его дочь. Но он лишь пожал плечами и продолжил чистить ботинки.

— Дети жестоки, Има. Они просто повторяют то, что слышат.

— Но это ложь! Чудовищная ложь!

— Это мифология, — спокойно возразил он. — В каждой культуре есть мифы о врагах. Это помогает сплотить нацию. Не делай из мухи слона.

«Сплотить нацию». Еще один эвфемизм. Сплочение через ненависть. Единство через исключение. Жан говорил фразами из передовиц, и я видела, как ему комфортно в этой броне из слов. Ему не нужно было думать, не нужно было сомневаться. За него уже

все придумали, сформулировали и упаковали в удобные лозунги. Ему оставалось только повторять.

Я начала замечать, что и сама меняюсь. Я стала бояться говорить. Я взвешивала каждое слово, прежде чем произнести его, боясь, что оно может быть истолковано превратно. Я перестала писать свои рассказы. Какой смысл описывать красоту заката, если на языке твоего мужа этот закат — лишь время, когда «тараканы» вылезают из щелей?

Молчание стало третьим жильцом в нашем доме. Мы с Жаном все еще разговаривали о быте, о счетах, о еде, но это был разговор двух чужаков, вынужденных делить купе поезда. Настоящие мысли, настоящие страхи оставались внутри. Я видела, как он смотрит на меня, когда думает, что я не вижу. В его взгляде была смесь вины и упрямства. Он знал, что предает меня, но он убедил себя, что это предательство во имя высшей цели. Во имя выживания. Во имя «большинства».

Однажды к нам зашел старый друг Жана, Паскаль. Он тоже был хуту, но он никогда не увлекался политикой. Они сидели в гостиной, пили пиво. Я была на кухне, но слышала каждое слово.

— Ты слышал, что говорят? — спросил Паскаль, понизив голос. — Говорят, скоро начнется большая уборка. Списки уже готовы.

— Давно пора, — ответил Жан. Его голос был твердым, без тени сомнения. — Мы не можем жить с ножом у горла вечно. Если нужно вырвать сорняки, чтобы спасти урожай, значит, нужно их вырвать.

— Но, Жан... — Паскаль замялся. — Твоя жена...

— Иммакуле — это другое, — быстро, слишком быстро ответил Жан. — Она не такая, как они. Она понимает. Она лояльна. Я за нее ручаюсь.

Я стояла у плиты, глядя на кипящую воду, и чувствовала, как слезы текут по щекам. «Она лояльна». Он не сказал «я ее люблю». Он не сказал «она мать моего ребенка». Он сказал «она лояльна». Он выдал мне характеристику, как выдают справку о благонадежности. Он оправдывал мое существование перед другом, используя терминологию партии.

В тот момент я поняла, что потеряла его. Мой муж, тот нежный, смешливый Жан, который учил меня названиям звезд, исчез. Его тело сидело в гостиной, его голос звучал

за стеной, но внутри него поселился чужой. Этот чужой говорил на языке, где слово «человек» имело сноски и исключения. Где милосердие считалось слабостью, а жестокость — гражданской добродетелью.

Язык подготовил почву. Он высушил наши души, сделал их черствыми и невосприимчивыми к боли другого. Он построил стену, кирпич за кирпичом, слово за словом. И когда эта стена стала достаточно высокой, мы перестали видеть лица тех, кто стоял по ту сторону. Мы видели только маски, нарисованные пропагандой. Маски тараканов, маски змей, маски врагов.

Я вытерла слезы и вошла в гостиную с подносом.

— Добрый вечер, Паскаль, — сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Паскаль вздрогнул и отвел глаза. Он не смог посмотреть на меня. Жан же посмотрел прямо, с вызовом, словно проверяя, слышала ли я.

— Спасибо, Има, — сказал он, беря бутылку. — Ты у нас золото.

«Золото». Ценный ресурс. Вещь.

Я вышла на крыльцо. Ночь была душной. Воздух был густым, насыщенным электричеством. Где-то вдалеке, на холме Ребера, выла собака. Мне казалось, что даже этот вой звучит иначе. Не как жалоба, а как предупреждение.

Я посмотрела на свои руки. Те же руки, что и вчера. Но в мире Жана, в мире радио RTLM, в мире газеты «Кангура» эти руки уже не принадлежали человеку. Они принадлежали категории. И эта категория была приговорена. Приговор был вынесен не судьей в мантии, а тысячами голосов, повторяющих одни и те же слова, пока они не стали реальностью.

Слова могут убивать. Я знала это как писатель. Но теперь я узнала это как жертва. Прежде чем взять в руки мачете, они взяли в руки слова. Они заточили их, как лезвия. И теперь они проверяли их остроту на нас, нарезая нашу жизнь на тонкие ломтики страха.

Я вернулась в дом, заперла дверь на два оборота, хотя знала, что от слов замков не существует. Жан уже спал. Он дышал ровно, глубоко. Я легла рядом, на самом краю кровати, стараясь не касаться его. Между нами лежала пропасть, заполненная терминами, определениями и лозунгами. И я знала, что моста через эту пропасть больше нет.

Глава 5. Импорт железа

В экономике есть законы, которые кажутся незыблемыми, как гравитация. Если спрос падает, цена снижается. Если товара мало, он становится дорогим. Но в конце 1993 года Руанда начала жить по другим законам — законам, где логика рынка подчинялась логике грядущей бойни.

Я помню, как изменились запахи в городе. Раньше Кигали пах пылью, жареным арахисом, дизельным топливом и влажной зеленью после дождя. Но в те месяцы к привычному букету примешался новый, резкий аромат. Это был запах заводской смазки. Густой, технический запах консервационного масла, которым покрывают новый металл, чтобы он не ржавел в трюмах кораблей.

Мы жили бедно. Цены на кофе — нашу главную экспортную гордость — рухнули на мировых биржах еще несколько лет назад, и это эхом отозвалось в каждом доме. Сахар стал роскошью, за солью приходилось стоять в очередях, а новая одежда для ребенка была событием, к которому готовились месяцами. Люди экономили на всем: разбавляли молоко водой, штопали старые рубашки, отказывались от мяса. Страна затягивала пояса, готовясь к трудным временам.

И на фоне этого всеобщего дефицита, этой скудости и бережливости, в страну вдруг хлынул поток железа.

Я впервые столкнулась с этим парадоксом в лавке господина Нзабонимпы, старого торговца скобяными изделиями в нашем районе. Обычно у него можно было купить гвозди, проволоку, дешевые кастрюли. Я пришла за петлями для двери, которая рассохлась и перестала закрываться.

Лавка была забита ящиками. Они стояли штабелями вдоль стен, загромождали проход, громоздились даже на прилавке. Это были тяжелые деревянные ящики с маркировкой на иностранных языках — английском, китайском. Древесина была светлой, свежей, еще не успевшей потемнеть от африканского солнца.

— Что это, Нзабонимпа? — спросила я, протискиваясь между коробками. — Ты решил открыть оптовый склад? Старик вытер пот со лба грязной тряпкой. Он выглядел растерянным, но довольным.

— Сельское хозяйство, Иммакуле. Правительство говорит, нам нужно поднимать сельское хозяйство. Привезли инструменты. Много инструментов.

— Но сейчас не сезон посадок, — удивилась я. — И кто будет покупать столько? У людей нет денег даже на новые мотыги.

— А вот тут ты ошибаешься, — он понизил голос и подмигнул мне. — Они дешевые. Почти даром. Дешевле, чем буханка хлеба. Бери, пока дают. В хозяйстве пригодится.

Он поддел гвоздодером крышку одного из ящиков. Раздался скрип, и в нос ударил тот самый запах — тяжелый, маслянистый дух нового железа. Внутри, переложённые промасленной бумагой, лежали мачете. Новенькие, с широкими лезвиями, тускло поблескивающими в полумраке лавки. Их было много. Десятки в одном ящике. Сотни в этой маленькой комнате.

Я смотрела на них и чувствовала странный холод в животе. Мачете — привычная вещь в Руанде. У нас в каждом доме есть такой нож. Мы рубим им стебли бананов, расчищаем кустарник, колем дрова для очага. Это инструмент жизни, инструмент крестьянина. Но эти мачете выглядели иначе. Они не были потертыми, с удобными, отполированными ладонями рукоятками. Они были холодными, безликими, промышленными. И их было слишком много.

Позже, работая с документами, я узнала цифры, от которых стынет кровь. В период с 1993 по 1994 год в нашу маленькую, нищую страну было импортировано 581 тонна мачете. Пятьсот восемьдесят одна тонна острого металла. Если перевести это в штуки, получится около пятисот тысяч лезвий.

Полмиллиона ножей.

В Руанде тогда жило около семи миллионов человек. Если вычесть детей, стариков и женщин, то получалось, что на каждого третьего взрослого мужчину в стране был закуплен новый мачете. Это не было похоже на закупку для нужд сельского хозяйства. Никакой экономической план не требовал такого количества инвентаря в год, когда

урожаи падали. Это было похоже на вооружение армии. Только армией должно было стать все население.

Но тогда, стоя в лавке, я не знала статистики. Я видела только ящики. И я видела, как люди покупают их. Не по одному, а связками. В лавку зашел молодой парень в яркой рубашке. Я знала его в лицо — он жил через две улицы, вечно слонялся без дела. Теперь он выглядел деловито.

— Дай мне три, — бросил он, выкладывая на прилавок мятые купюры.

— Зачем тебе три, Жозеф? — не удержалась я. — У тебя даже огорода нет.

Он посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом. В его глазах не было агрессии, только какое-то пьяное, веселое знание чего-то, чего не знала я.

— Трава растет быстро, мамаша, — ухмыльнулся он. — Скоро будет много работы. Нужно быть готовым.

«Работа». Снова это слово. Оно висело в воздухе, как топор.

Я вышла из лавки, не купив петли. Мне хотелось вымыть руки, чтобы смыть запах масла. Но он преследовал меня. Грузовики, груженные такими же ящиками, проезжали мимо, поднимая пыль. Они ехали не на поля. Они ехали в городские кварталы, к административным зданиям, к складам префектур. Импорт смерти был налажен с эффективностью, которой так не хватало нашей мирной экономике. Кто-то подписывал накладные. Кто-то ставил печати на таможне. Кто-то выделял валюту из скудного бюджета страны, чтобы оплатить этот металл. Это была огромная бюрократическая машина, работающая безупречно.

А потом изменились субботы.

В Руанде есть традиция — «умуганда». Общественные работы. В последнюю субботу месяца все жители выходят, чтобы вместе сделать что-то полезное: починить дорогу, расчистить канаву, убрать мусор. Это всегда было чем-то вроде праздника труда, обязательного, но мирного. Люди шутили, обменивались новостями, чувствовали себя общиной.

Но в начале 1994 года умуганда стала другой.

Я помню утро субботы, когда я проснулась от ритмичного топота и громких песен. Я выглянула в окно. По улице бежали молодые люди. Они были одеты в одинаковые

рубашки из ткани «китенге» с ярким узором — цвета правящей партии. Это были «Интерахамве». Молодежное крыло. Те, кто «нападает вместе» или «работает вместе» — перевод зависел от того, кто переводил.

Их было много. Они не несли лопаты или метлы. Они несли палки, муляжи винтовок и те самые новые, блестящие мачете.

— Раз-два! Раз-два! — кричал командир, крепкий мужчина в спортивном костюме и с свистком на шее. — Враг не дремлет! Будьте сильными!

Они остановились на пустыре недалеко от нашего дома. Я видела, как они выстроились в шеренги. Это не было похоже на уборку территории. Это была военная муштра. Они отрабатывали удары. Рубящие, колющие. Они учились двигаться строем, подчиняться командам, превращаться из толпы бездельников в единый организм.

Жан стоял рядом со мной у окна. Он пил кофе, и чашка в его руке слегка подрагивала.

— Что они делают, Жан? — спросила я шепотом. — Это же дети. Твои ученики. Вон там, во втором ряду, это же Патрик из твоего класса.

Жан отхлебнул кофе и поморщился, словно он был слишком горячим.

— Это гражданская оборона, Има. Ты же слышишь новости. На границе беспокойно. РПФ может напасть в любой момент. Армия не справится одна. Народ должен уметь защитить себя.

— Защитить от кого? От соседей? Они учатся убивать мачете, Жан! Это не защита от армии с автоматами. Это ближний бой.

— Это дисциплина, — отрезал он. — Парням нужно куда-то девать энергию. Лучше пусть маршируют под присмотром, чем пьют по подворотням. Это организует их. Дает цель.

«Дает цель». Я смотрела на Патрика, застенчивого мальчика, который еще вчера запинаясь, отвечая урок у доски. Сейчас его лицо было искажено гримасой старания. Он с силой опускал палку на воображаемого врага. Раз. Два. Раз. Два. Его движения становились увереннее. Он больше не был школьником. Он был солдатом армии, у которой пока не было официального статуса, но уже было оружие.

Самое страшное было в том, что это происходило открыто. Никто не прятался в лесах. Тренировки проходили на футбольных полях, на рыночных площадях, прямо под окнами жилых домов. Полиция проезжала мимо и приветственно сигналила. Префект выступал перед строем, хваля их за патриотизм. Насилие легализовывалось, вводилось в норму, становилось частью гражданского долга.

Однажды вечером Жан пришел домой с длинным свертком, завернутым в газету. Он положил его на стол, стараясь не шуметь, но тяжелый металлический стук выдал содержимое. Я замерла с полотенцем в руках.

— Что это? Он развернул бумагу. На столе лежал мачете. Новый. С наклейкой на лезвии. Тот самый, из партии в 581 тонну.

— Раздавали в префектуре, — сказал он, не глядя мне в глаза. — Почти бесплатно.

— Зачем? — мой голос сорвался на крик. — У нас есть мачете! Хороший, от твоего отца! Зачем нам этот?

— Тот старый, тупой, — пробормотал Жан. — А этот... этот хороший. Сталь отличная. Пригодится.

— Для чего пригодится, Жан? Что ты собираешься им рубить?

Он молчал. Он снял очки, протер их краем рубашки. В этом жесте была такая беспомощность, такая жалкая попытка сохранить лицо интеллигентного человека, совершающего дикость, что мне стало страшно.

— Все берут, Има. Если у всех есть, а у нас нет... это выглядит подозрительно. Понимаешь? Это как флаг. Если ты не вывешиваешь флаг в праздник, значит, ты против. Если ты не берешь оружие для защиты страны, значит, ты на стороне врага. Я взял его, чтобы нас не трогали. Чтобы они видели, что я свой.

Он взял мачете и провел пальцем по лезвию. Осторожно, почти нежно.

— Острый, — сказал он с каким-то странным восхищением.

Этот предмет лег между нами на столе, как граница. Он блестел в свете электрической лампочки, отражая искаженные предметы нашей уютной кухни: чайник, занавески в цветочек, детские рисунки на стене. Это был чужеродный объект. Он не принадлежал этому дому. Он принадлежал тому миру, который строили на улицах люди в ярких рубашках.

Я смотрела на лезвие и думала о том, как легко экономика превращается в идеологию. Сначала ты создаешь образ врага. Потом ты завозишь инструменты для его уничтожения. Потом ты раздаешь эти инструменты населению, объясняя это заботой о безопасности. И, наконец, ты создаешь ситуацию, когда отказ от оружия становится актом предательства.

Жан убрал мачете в кладовку, за мешки с фасолью.

— Пусть лежит, — сказал он. — Есть не просит.

Но я знала, что это не так. Оружие всегда просит есть. Оно требует действия. Оно создано для определенной цели, и само его наличие провоцирует эту цель. Пятьсот тысяч мачете, распределенных по холмам, создавали критическую массу напряжения. Это было похоже на сухой хворост, пропитанный бензином. Железо ждало крови.

Ночью я не могла уснуть. Мне казалось, что я слышу, как дышит этот новый предмет в нашей кладовке. Холодное, металлическое дыхание. Я думала о том, сколько таких предметов сейчас лежит в домах моих соседей. У Габриэля. У Жозефа. У учителя математики. Под кроватями, в шкафах, за дверями. Тысячи тонн стали, импортированной под видом сельскохозяйственного инвентаря, лежали в темноте и ждали сигнала.

Руанда была беременна войной, и это была не метафора. Это была физическая реальность, измеряемая в тоннах груза, прошедшего через таможню. Мы спали на складе боеприпасов, утешая себя тем, что это просто садовые инструменты.

Утром я увидела, как Лейя играет во дворе. Она нашла длинную палку и размахивала ею, повторяя движения, которые видела у людей на улице.

— Раз-два! Раз-два! — звенел ее тонкий голосок. Я выбежала на крыльцо, вырвала палку из ее рук и сломала о колено.

— Никогда! — закричала я, пугая ее и саму себя. — Никогда не смей играть в это!

Лейя заплакала, испуганная моей яростью. Я прижала ее к себе, чувствуя, как колотится ее маленькое сердце. Но поверх ее головы я видела забор соседа. Там, прислоненный к стене, сушился на солнце свежевывмытый мачете. Он был чистым. Пока еще чистым. Но солнце играло на его лезвии бликами, которые были слишком яркими для мирного утра.

Глава 6. Песни Симона

Музыка всегда была для нас чем-то большим, чем просто звук. В Руанде, где каждый холм имеет свое эхо, песня — это способ дыхания. Мы пели, когда сажали фасоль, чтобы ритм мотыг совпадал с ритмом сердца. Мы пели, когда укладывали детей спать, сплетая из мелодии защитный кокон. Мы пели на свадьбах, чтобы связать две семьи в одну кровеносную систему. Песня была клеем, удерживающим мир от распада.

Но в начале 1994 года музыка изменила свою природу. Она перестала быть лекарством и стала наркотиком.

Я помню, как это началось — не с громких маршей, а с вкрадчивых, невероятно красивых мелодий, которые просачивались сквозь щели в оконных рамах, сквозь шум дождя, сквозь наши сны. Это были песни Симона Бикинди.

Симон не был просто певцом. Он был голосом нации, ее золотым горлом. Он работал в Министерстве молодежи и спорта, и это придавало его творчеству официальный вес, но любили его не за должность. Его любили за талант. У него был дар брать старые, корневые ритмы, знакомые каждому руандийцу с детства — ритмы барабанов «ингома», ритмы пастушьих песен — и накладывать на них современные аранжировки. Это была музыка, которая заставляла тело двигаться помимо воли.

В то время в Кигали невозможно было пройти и ста метров, чтобы не услышать его голос. Он звучал из открытых дверей парикмахерских, из кабин маршрутных такси, из переносных магнитофонов, которые подростки носили на плечах как трофеи. Кассеты с его альбомами, в дешевых пластиковых корпусах, продавались на каждом углу, лежали горами рядом с мылом и спичками. Они были предметом первой необходимости.

Однажды воскресным утром я проснулась от того, что Жан напевал на кухне. Он готовил чай, звякал ложкой о чашку и мурлыкал под нос мелодию. Это был легкий, прилипчивый мотив, что-то очень мажорное, солнечное. Я вошла на кухню, потягиваясь.

— Что это? — спросила я, обнимая его со спины. — Красивая мелодия.

Жан замер на секунду, потом повернулся ко мне с улыбкой, которая показалась мне чуть более широкой, чем нужно.

— Это новый хит Бикинди. «Nanga Abahutu». Вся школа сходит по ней с ума. Даже директор напевает.

Я знала киньяруанда. Я знала каждое слово в этом языке, каждый оттенок смысла. Название песни переводилось как «Я ненавижу этих хуту». Я отстранилась от мужа, чувствуя, как холод ползет по спине.

— Ты поешь песню о ненависти к своему народу? — спросила я, не понимая.

Жан рассмеялся, наливая кипяток в заварочный чайник.

— Ты не слушаешь текст, Има. В этом вся соль. Это сатира. Он поет: «Я ненавижу этих хуту... которые не горды собой. Которые дружат с врагами. Которые забыли, кто они». Это призыв к достоинству. К солидарности.

Я села на стул, чувствуя, как слабеют ноги. Это была гениальная ловушка. Если бы песня называлась «Я ненавижу тутси», это было бы слишком прямолинейно, слишком грубо. Это могло бы отпугнуть сомневающихся. Но Бикинди пошел другим путем. Он атаковал «своих». Он создал образ «плохого хуту» — того, кто недостаточно радикален, кто сохраняет человечность, кто помнит о дружбе и соседстве. Он стыдил их.

В тексте песни, который я позже услышала полностью, Симон перечислял грехи этих «предателей». Они были виноваты в том, что жалели. В том, что сомневались. В том, что женились на женщинах вроде меня. Песня объявляла умеренность преступлением, а жестокость — высшей формой верности.

И самое страшное — это было упаковано в форму искусства.

Мы привыкли думать, что зло уродливо. Что оно должно кричать, брызгать слюной, носить грубые сапоги. Но зло пришло к нам в виде танцевального хита. У него был безупречный ритм, под который хотелось покачивать бедрами. У него была гармония, которая ласкала слух.

Вечером того же дня мы были приглашены на день рождения к коллеге Жана. Дом был полон гостей. Люди пили пиво, ели жареную козлятину, смеялись. В углу стоял магнитофон. Когда заиграла эта песня, произошло нечто, что я никогда не забуду. Люди встали. Не сговариваясь, как по команде. Мужчины, женщины, пожилые учителя, молодые стажеры. Они вышли в центр комнаты и начали танцевать. Это был не просто танец — это был ритуал единения. Они пели хором, вскидывая руки в такт припеву.

«Я ненавижу этих хуту! Я ненавижу этих хуту!» — гремело под жестяной крышей.

Я сидела в кресле, вжавшись в обивку, и смотрела на своего мужа. Жан танцевал. Его лицо было раскрасневшимся, очки съехали на кончик носа. Он пел вместе со всеми. Он выглядел счастливым. В этот момент он был частью целого, частью огромного, мощного организма, который пульсировал в едином ритме. И я видела, как этот ритм вымывает из него все индивидуальное, все то, что делало его Жаном — моим мужем, отцом Лейи, любителем истории.

Музыка синхронизировала их. Она создавала эмоциональное поле, в котором не было места сомнениям. Когда ты поешь в хоре, ты не можешь фальшивить. Ты должен попадать в ноту. А нота была одна — ненависть к тем, кто не с нами.

Ко мне подошла жена хозяина дома, полная, добрая женщина, которая всегда передавала нам рецепты пирогов. Она тяжело дышала после танца, ее лицо лоснилось от пота.

— Почему ты не танцуешь, Иммакуле? — спросила она, обмахиваясь ладонью. — Такая чудесная музыка! Ноги сами идут в пляс.

— У меня болит голова, — солгала я.

Она посмотрела на меня с сочувствием, но в глубине ее глаз я увидела тень. Тень подозрения. Тот, кто не танцует, выпадает из круга. Тот, кто не поет, молчаливо осуждает поющих. Мое молчание в той комнате было громче, чем динамики магнитофона. Оно было актом сопротивления, и они это чувствовали.

Симон Бикинди и его балетная труппа «Иринди́ро» гастролировали по всей стране. Они выступали на стадионах, на рыночных площадях. Это были красочные шоу. Традиционные костюмы, барабаны, танцоры, взлетающие в воздух в невероятных прыжках. Это подавалось как возрождение культуры, как возвращение к корням.

— Посмотри, как это красиво! — говорил Жан, глядя репортаж о концерте по телевизору. — Мы забыли, кто мы. А Симон напоминает. Он возвращает нам гордость.

Я смотрела на экран. Танцоры действительно были великолепны. Их тела были совершенны, их движения отточены. Но тексты, которые они иллюстрировали своими движениями, были ядом. Бикинди пел о «Бене Себахинзи» — сыновьях земледельцев, призывая их объединиться против «захватчиков». Он использовал древние коды, мифы, легенды, извращая их смысл, превращая историю в оружие.

Искусство стало соучастником. Более того, оно стало анестезией. Убивать под музыку легче. Ненависть, облеченная в поэтическую форму, перестает казаться дикостью. Она становится эстетическим переживанием. Люди не просто слушали радио — они потребляли идеологию как культурный продукт, как развлечение, как моду.

Однажды я ехала в автобусе в центр города. Водитель включил кассету Бикинди на полную громкость. Салон наполнился вибрацией басов. Пассажиры начали подпевать. Молодой парень на переднем сиденье отбивал ритм по приборной панели. Женщина с ребенком за спиной мурлыкала мелодию, укачивая младенца. Я сидела у окна, стараясь стать невидимой. Я чувствовала себя шпионом во вражеском лагере, хотя это был мой город, мой автобус, мои соседи. Музыка провела черту, которую невозможно было пересечь. Она разделила салон на «нас» (тех, кто поет) и «их» (тех, о ком поют).

В песне были слова: «Давайте искать друг друга, давайте найдем друг друга». Это звучало как призыв к дружбе. Но в контексте 1994 года «искать друг друга» означало выявлять врагов. Это был призыв к бдительности, к охоте. И пассажиры, подпевая, неосознанно давали согласие на эту охоту. Они репетировали. Пока только голосом, связками, легкими. Но путь от голосовых связок до рук, сжимающих рукоять мачете, короче, чем кажется.

Я вернулась домой разбитая. В голове все еще звучал этот навязчивый ритм. Я попыталась включить классическую музыку, чтобы смыть его, но Моцарт казался слабым, бледным перед этой витальной, агрессивной энергией. Жан сидел на веранде и чинил радиоприемник. Он удлинял антенну куском проволоки.

— Помехи, — объяснил он, не поднимая головы. — RTLМ плохо ловит по вечерам. А сегодня обещали премьеру новой песни Симона. Говорят, это будет гимн.

— Тебе так важно это услышать? — спросила я тихо.

— Это важно для всех, Има. Ты не понимаешь. Это дух времени. Нельзя отставать.

Он накрутил проволоку, и сквозь треск прорвался чистый, сильный звук. Симон Бикинди пел о том, что счастье близко, что нужно только убрать препятствия с пути. Голос певца был теплым, бархатным, обволакивающим. Он обещал рай на земле. Рай только для одних.

Я посмотрела на руки Жана. Они двигались в такт музыке, подкручивая настройки. Это были руки учителя, интеллигента. Но музыка управляла ими. Она входила в его

нервную систему, перепрограммировала реакции. Я поняла, что спорить с логикой бесполезно, потому что музыка работает не с логикой. Она работает с эмоциями, с подсознанием. Она бьет прямо в лимбическую систему, минуя кору головного мозга.

Бикинди дал им эмоциональное разрешение на то, что готовилось. Он сказал им: «Ваша ярость красива. Ваша ненависть музыкальна. Вы не убийцы, вы — хор».

Самым страшным моментом для меня стало то, когда я услышала голос Лейи. Она играла во дворе с куклой. Она укачивала ее и тихонько напевала. Я прислушалась. Это была та самая мелодия. «Nanga Abahutu». Я вылетела во двор, выхватила куклу, напугав дочь до икоты.

— Откуда ты это знаешь?! — закричала я.

Лейя смотрела на меня огромными, полными слез глазами.

— Папа поет... И по радио... И все дети в школе... Мама, это просто песенка.

— Это не песенка! — я трясла ее за плечи, ненавидя себя за эту грубость, но не в силах остановиться. — Никогда, слышишь, никогда не пой это! Это плохие слова!

— Но музыка красивая... — прошептала она, всхлипывая.

Я прижала ее к себе и заплакала. Музыка была красивой. В этом и была трагедия. Зло украло красоту. Оно присвоило себе гармонию, мажорные лады, синкопированный ритм. Оно забрало у нас право на музыку. Теперь, чтобы остаться человеком, нужно было заткнуть уши.

Вечером я лежала в постели и слушала дыхание города. Кигали не спал. С холмов доносились звуки барабанов и пение. Где-то была вечеринка. Где-то люди праздновали жизнь. Но для меня эти звуки теперь звучали как заточка ножей. Каждый удар барабана был ударом молотка, забивающего гвоздь в крышку нашего гроба.

Жан спал рядом. Во сне он иногда дергал ногой, словно продолжал танцевать. Я смотрела на его профиль в лунном свете и думала: слышит ли он эту музыку во сне? Преследует ли она его там, где он беззащитен? Или, может быть, там, во сне, он все еще тот Жан, который любил песни о дожде и ветре, а не гимны о чистке рядов?

Но утром он проснется, включит радио, и Симон Бикинди снова скажет ему, что он должен чувствовать. И Жан будет подпевать, потому что страшно петь другую мелодию, когда весь мир поет одну и ту же.

На столе в гостиной лежала кассета. Черный пластик, белая наклейка, написанная от руки: «Симон. Лучшее». Лучшее. Самое эффективное. Самое смертоносное. Культурная подготовка была завершена. Сцена была построена, декорации расставлены, саундтрек написан. Оставалось только дожидаться сигнала режиссера, чтобы начать спектакль, в котором кровь будет настоящей, а не клюквенным соком.

Я встала, взяла кассету и хотела выбросить ее в окно. Но рука замерла. Я поняла, что это ничего не изменит. Музыка уже не в кассете. Она в головах. Она в воздухе. Она стала частью ландшафта, как эвкалипты и красная пыль. И вытравить ее оттуда будет сложнее, чем смыть пятна с одежды.

Я положила кассету обратно. Щелчок пластика о дерево прозвучал в тишине комнаты как выстрел.

Глава 7. Сигнал к буре

Шестое апреля 1994 года выпало на среду. Это был день, который ничем не отличался от сотен других дней сезона дождей. Небо над Кигали было низким, набухшим влагой, цвета старого свинца. Дождь то начинался, то затихал, оставляя на земле лужи, в которых отражались мутные желтые огни уличных фонарей.

Мы закончили ужин. На столе оставались крошки хлеба и пустая тарелка из-под фасоли. Лейя уже спала в своей комнате, утомленная школой и играми. В доме пахло остывающим чаем и сыростью, проникающей сквозь щели в оконных рамах. Это был запах обыденности, тот самый, который мы перестаем замечать, пока он не исчезает навсегда.

Жан сидел в кресле, вытянув ноги. На его коленях лежал раскрытый журнал, но он не читал. Он слушал. Черный приемник на буфете работал тихо, бормоча что-то о футбольном матче в Тунисе. Это был уютный, домашний шум. Комментатор возбужденно кричал о голе, трибуны ревели, и этот далекий рев казался самой большой драмой, которая может случиться в мире этим вечером.

Я мыла посуду, глядя в темное окно. В стекле отражалась кухня: желтый круг света от лампы, сутулая спина мужа, мои собственные руки в мыльной пене. Я думала о том, что завтра нужно купить муки, что у Лейи порвались сандалии, что крыша на веранде снова протекает. Мои мысли были маленькими, бытовыми, безопасными.

Около половины девятого вечера эфир изменился.

Это не было похоже на технический сбой. Это было похоже на то, как если бы у мира внезапно остановилось сердце. Футбольный матч оборвался на полуслове. На секунду повисла тишина — плотная, звенящая, страшная. А потом сквозь статический треск прорвалась музыка. Не танцевальная, не легкая, к которой мы привыкли за последние месяцы. Это была классическая музыка, тяжелая и торжественная, какую ставят, когда умирают короли.

Жан резко выпрямился в кресле. Журнал соскользнул с его колен на пол с сухим шелестом.

— Что это? — спросил он, глядя на приемник так, словно тот превратился в змею.

Я вытерла руки о передник и подошла к нему.

— Может быть, помехи? Или профилактика?

— Нет, — он покачал головой. — Такую музыку просто так не ставят.

Мы стояли и слушали, как скрипки нагнетают тревогу в нашей маленькой гостиной. А потом музыка оборвалась, и зазвучал голос. Это был не привычный, развязный тон Кантано. Голос был жестким, отрывистым, пропитанным яростью, которая едва сдерживалась рамками слов.

«Президент мертв».

Эти два слова упали в комнату, как камни. Самолет Жювеналя Хабиариманы был сбит при подлете к аэропорту Кигали. «Фалькон-50» рухнул прямо на сад президентского дворца.

Я посмотрела на Жана. Его лицо посерело. Он снял очки, протер глаза, снова надел. Его руки дрожали.

— Это конец, — прошептал он. — Они убили Отца.

«Они». Местоимение прозвучало мгновенно. Еще не было расследования, обломки самолета еще горели, пожарные машины, возможно, еще даже не выехали из депо, но виновные уже были назначены. Радио не выдвигало версий. Радио выносило приговор.

— Кто «они», Жан? — спросила я, чувствуя, как холод поднимается от пола к ногам.

Он посмотрел на меня, и в его взгляде я увидела то, чего боялась больше всего: отчуждение. В эту секунду я перестала быть его женой. Я стала представительницей «них».

— РПФ, — бросил он. — Твои соплеменники. Иниензи. Кто же еще? Они не могли победить в честном бою, поэтому ударили в спину. Как всегда.

Эфир взорвался. Сдержанность первых минут исчезла. Теперь из динамика лился чистый, неразбавленный яд. Дикторы RTLМ кричали, перебивая друг друга. Они не скорбели. Они мобилизовывали. Смерть президента была подана не как трагедия, а как сигнал стартового пистолета.

«Вставайте! Вставайте, народ большинства! Вы слышите? Они убили нашего президента! Они хотят убить нас всех! Если вы не убьете их первыми, они придут за вами этой ночью!»

Это была гениальная манипуляция страхом. Людям не дали времени на горе или размышления. Им сказали: ваша жизнь в опасности прямо сейчас. Либо вы, либо они. Третьего не дано. Механизм самозащиты, самый древний и мощный инстинкт, был взломан и перенаправлен на соседей.

Я подошла к окну. Улица, еще десять минут назад тихая и сонная, начала меняться. Я увидела, как в соседних домах зажигается свет. Один за другим, желтые квадраты окон вспыхивали в темноте холма. Люди просыпались. Люди включали радио. Люди получали приказ.

— Нужно забаррикадировать дверь, — сказал Жан. Он больше не сидел. Он метался по комнате, проверяя замки, задерживая шторы. Его движения были резкими, дергаными. — Има, погаси свет. Быстро.

Мы погрузились в темноту. Только зеленый огонек индикатора на радиоприемнике светился, как глаз хищника. Из этого глаза продолжали звучать голоса RTLМ —

быстрые, резкие, захлебывающиеся, словно эфир торопился отдать как можно больше приказов.

«Не сидите дома! Выходите на улицы! Враг среди нас. Они празднуют смерть нашего лидера. Посмотрите на своих соседей. Если они не плачут, значит, они смеются внутри. Значит, они — сообщники».

Я вспомнила, как Жан говорил о «работе». Теперь это слово звучало в каждом предложении. «Работайте, друзья! Начинайте работу! Могилы еще не полны. Кто поможет нам заполнить их?»

«Работа» (gukora) означала убийство. «Инструменты» означали мачете. «Кустарник» означал людей. Язык, на котором мы говорили, окончательно сбросил маску. Метафоры стали прямыми указаниями к действию.

Внезапно Бемерики начала называть имена. «Внимание, патриоты в районе Кичукиро! Обратите внимание на дом по улице... Там живет предатель, который помогал тараканам ... Найдите его. Он не должен уйти».

Я слушала и не верила своим ушам. Радиостанция превратилась в координационный центр. Голоса в эфире наводили убийц на цели. Они диктовали адреса, номера машин, приметы. Это была не пропаганда. Это была оперативная связь для эскадронов смерти.

— Жан, — прошептала я в темноте. — Они называют адреса. Это безумие.

— Это война, — ответил он из угла, где стоял, прижавшись к стене. — На войне уничтожают командиров врага.

— Каких командиров? Это гражданские люди! Это врачи, юристы, торговцы!

— Это пятая колонна, — отрезал он. — Ты не понимаешь. У них есть списки. Если мы не уничтожим их по списку, они уничтожат нас.

Он верил в это. Я слышала эту веру в его голосе. Страх за свою жизнь вытеснил из него остатки логики. Пропаганда, которую он впитывал месяцами, сработала именно в этот момент кризиса. Она дала ему простую, понятную картину мира: нас атакуют, мы защищаемся.

С улицы донеслись звуки. Свистки. Ритмичные, резкие трели. Потом удары металла о металл. Кто-то бил в старый автомобильный диск, висевший на столбе, —

сигнал сбора. Я выплянула в щель между шторами. На перекрестке, в ста метрах от нашего дома, уже что-то происходило. В свете фар подъехавшего грузовика я увидела фигуры людей. Они тащили бревна, старые покрышки, камни. Они перекрывали дорогу.

Блокпост.

С момента крушения самолета прошел едва ли час. Никакая стихийная ярость толпы не способна организовать с такой скоростью. Это было подготовлено. Люди знали, что делать. Они знали, где лежат бревна. Они знали, кто будет стоять на посту. Сценарий был написан заранее, роли распределены, и теперь, по сигналу режиссера, актеры вышли на сцену.

— Они перекрывают дорогу, — сказала я.

Жан подошел к окну и посмотрел через мое плечо. Я почувствовала запах его пота — кислый, острый запах страха.

— Правильно, — пробормотал он. — Чтобы никто не сбежал. Чтобы РПФ не прорвались в город.

— Жан, РПФ на севере. А здесь — наши соседи. Кого они ловят?

Он не ответил. Он отошел от окна и направился в кухню. Я услышала звук открываемой двери кладовки. Шорох мешков. А потом — тяжелый, характерный звук металла, извлекаемого из ножен.

Он вернулся в гостиную с мачете в руке. С тем самым, новым, который он купил «для хозяйства». В темноте лезвие не блестело, оно казалось черным продолжением его руки.

— Зачем это? — спросила я, отступая на шаг.

— Для защиты, — сказал он. — Я буду дежурить у двери. Если они придут...

— Кто «они», Жан? Кто придет? Твои друзья из «Интерахамве»?

— Не говори так, — его голос сорвался на визг. — Ты не знаешь, что происходит. Может быть, тутси уже режут хуту в соседнем квартале. Радио говорит...

— Радио врет! — крикнула я, забыв об осторожности. — Радио хочет крови!

— Тише! — он подскочил ко мне и зажал мне рот ладонью. Его рука пахла табаком и тем самым заводским маслом от мачете. — Ты хочешь, чтобы нас услышали? Ты хочешь, чтобы они пришли сюда и увидели, что я не контролирую свою жену?

Я замерла. Его глаза, расширенные от ужаса, были совсем близко. В них я увидела не мужа, а загнанного зверя. Он боялся не «тараканов». Он боялся «своих». Он боялся, что его сочтут недостаточно лояльным, недостаточно жестоким. В эту ночь самым страшным грехом для хуту было проявление мягкости.

Он отпустил меня и отошел к двери. Он сел на пол, положив мачете на колени. Он занял позицию. Он стал часовым. Но кого он охранял? Нас от внешнего мира? Или внешний мир от нас?

Радио продолжало работать. Теперь там звучала фраза, которая станет эпитафией для миллиона людей. «Валите высокие деревья! Валите высокие деревья!»

Это был код. Простой, понятный каждому руандийцу. Тутси исторически считались высокими. «Высокие деревья» — это были мы. Это была я. Это была моя дочь, которая, к счастью, спала и не слышала, как ее отец сидит у двери с ножом, слушая призыв срубить ее, как сухостой.

Я пошла в спальню к Лейе. Она спала, раскинув руки, сбивая одеяло на пол. В темноте ее лицо казалось белым пятном. Я села на край кровати и накрыла ее ладонью, чувствуя тепло ее маленького тела. «Высокое дерево», — подумала я. Моя маленькая девочка. Росток.

С улицы донесся первый крик. Это был не лозунг и не песня. Это был крик боли, короткий и влажный, который оборвался внезапно, словно выключили звук. Я вздрогнула. Жан в гостиной тоже дернулся, я слышала, как звякнуло лезвие о пол. Но он не вышел. Он не открыл дверь, чтобы посмотреть, кому нужна помощь. Он остался сидеть.

В ту ночь я поняла, что геноцид начинается не с первого удара мачете. Он начинается с согласия на этот удар. Он начинается в тот момент, когда человек слышит крик соседа и заставляет себя поверить, что это не крик человека, а звук «работы». Что это необходимо. Что это справедливо.

Телефон зазвонил, разрывая тишину дома, как сирена. Я бросилась к аппарату, чтобы он не разбудил Лейю.

— Алло? — прошептала я в трубку.

— Иммакуле? — голос моей подруги Терезы дрожал и срывался. Она жила в районе Ньямирамбо. — Иммакуле, они здесь. Они у ворот. Они кричат имя моего мужа. Что нам делать? Иммакуле, скажи Жану... пусть Жан позвонит кому-нибудь... он же знает их...

Я посмотрела на Жана. Он сидел в темноте, сгорбившись над своим оружием. Зеленый глаз радиоприемника смотрел на него, гипнотизируя.

— Жан не может помочь, Тереза, — сказала я мертвым голосом. — Никто не может помочь.

— Они ломают дверь! — закричала она, и связь оборвалась. Остались только короткие гудки. Ту-ту-ту. Ритм, похожий на удары сердца, которое вот-вот остановится.

Я медленно положила трубку. За окном, на холмах Кигали, разгорались костры. Это горели не дома. Это горели списки, законы, мораль и десять заповедей Бога, уступая место десяти заповедям «Кангуры». Город превращался в огромный алтарь.

Жан поднял голову.

— Кто звонил? — спросил он хрипло.

— Никто, — ответила я. — Ошиблись номером.

Я вернулась в спальню и начала одеваться. Я надела джинсы, прочную рубашку, кроссовки. Я не знала, куда бежать, но знала, что этот дом больше не крепость. Стены стояли, крыша была на месте, но фундамент рухнул. Между мной и человеком, сидящим у двери, пролегла не просто комната. Между нами пролегла линия фронта, проведенная голосом из радиоприемника.

На столе в кухне, забытый в суматохе, лежал школьный дневник Лейи. На обложке было написано ее имя и фамилия отца. Фамилия, которая должна была стать ее щитом. Но я знала, что в списках, которые сейчас зачитывали по радио, щитов не предусмотрено. Там были только цели.

Я посмотрела на часы. Было всего десять вечера. Прошло полтора часа с момента катастрофы. Мир рухнул за девяносто минут. И в этой новой реальности, в темноте, пахнувшей дождем и гарью, я услышала, как Жан тихо, почти неслышно, начинает

напевать под нос мелодию, звучащую из приемника. Это была песня Симона Бикинди. Он подпевал, чтобы заглушить крики с улицы. Или чтобы заглушить голос внутри себя.

Глава 8. Бегство в никуда

Утро седьмого апреля не наступило. Вместо рассвета над Кигали поднялась серая, удушливая мгла, пахнувшая горелой резиной и сырым порохом. Солнце, казалось, отказалось освещать то, что происходило на земле, и спряталось за плотной завесой низких облаков. В доме было тихо, но это была не тишина покоя, а тишина затаившегося дыхания перед прыжком.

Я сидела на полу в прихожей, обнимая колени. Рядом стояла Лейя. Она не плакала, только мелко дрожала, как птица, ударившаяся о стекло. Мы были одеты — на мне две рубашки и джинсы, на ней — школьная форма, поверх которой я натянула свитер, хотя на улице было душно. Странная логика катастрофы: кажется, что чем больше на тебе одежды, тем толще броня между твоим телом и смертью.

Дверь в спальню открылась. Вышел Жан.

Я подняла глаза и на секунду перестала узнавать человека, с которым прожила десять лет. На нем не было привычного учительского пиджака с потертыми локтями. На нем была рубашка из яркой ткани с геометрическим узором — цвета, которые я видела вчера на марширующих парнях. На голове — кепка, надвинутая на глаза. В правой руке он держал мачете. Не тот, старый, которым мы рубили ветки, а новый, с еще не стершейся заводской наклейкой на лезвии.

Он не смотрел на нас. Он смотрел в зеркало, поправляя воротник. Его движения были скупыми, механическими.

— Вам нужно уходить, — сказал он, обращаясь к своему отражению. — Сейчас придут с проверкой. Бургомистр приказал проверить каждый дом в секторе.

— Кто придет, Жан? — мой голос звучал сухо, как шелест бумаги. — Твои друзья?

— Патруль, — он наконец повернулся. Его глаза за стеклами очков были пустыми, словно кто-то выключил свет внутри черепной коробки. — У них списки, Има. Они знают, кто живет в этом доме. Если они найдут вас здесь, я не смогу объяснить... Я не смогу остановить их.

Он говорил о нас как о компрометирующих уликах. Как о запрещенной литературе или контрабанде, которую нужно вынести из дома до прихода полиции.

— Куда нам идти? — спросила я, поднимаясь. Лейя вцепилась в мою ногу.

— К церкви, — бросил он быстро. — Или в школу. Там собирают беженцев. Там будет ООН. Там безопасно. А мне нужно... мне нужно показаться на блокпосту. Если меня не увидят, они подумают, что я скрываю врагов.

Он подошел к столу, взял пачку денег и сунул мне в руку. Его пальцы были холодными и влажными.

— Беги, Има. Не иди по главной дороге. Используй тропы между домами. И ради бога, выбрось удостоверение.

Это был последний совет мужа. Выбросить удостоверение. Он знал, что маленькая зеленая книжечка, лежащая у меня в кармане, теперь весила больше, чем любой камень. В ней, в графе «ubwooko» — этническая принадлежность — стояло слово, которое за одну ночь превратилось в смертный приговор.

Жан открыл дверь. С улицы ворвался шум: свистки, далекие крики и ритмичный, глухой стук, похожий на удары по дереву.

— Идите, — сказал он и отвернулся. Он не поцеловал дочь. Он не обнял меня. Он просто стоял в дверном проеме, сжимая рукоять мачете, и его силуэт на фоне серого неба казался вырезанным из картона. Он уже был на работе. Он заступил на смену.

Мы вышли через заднюю дверь, перелезли через низкий забор и оказались в узком проулке, заросшем высокой травой. Мир, который я знала — мир приветливых соседей, открытых калиток и запаха жареного арахиса — исчез. Его место занял лабиринт страха.

Мы бежали, пригибаясь к земле. Лейя не задавала вопросов. Дети чувствуют правду быстрее взрослых: она поняла, что правила игры изменились, и теперь главное правило — быть невидимой. Впереди, на перекрестке двух грунтовых дорог, мы увидели первое препятствие. Блокпост. Это не было похоже на военное укрепление. Это была

куча мусора: старые шины, стволы банановых пальм, камни, ящики из-под пива. Но за этой кучей стояли люди.

Я узнала их. Там стоял Томас, продавец угля, у которого мы покупали топливо каждую неделю. Там был сын аптекаря, молодой парень, который всегда здоровался со мной, снимая кепку. Теперь они были хозяевами улицы. У Томаса в руках была дубинка, утыканная гвоздями. У парня — мачете. Они смеялись, передавая друг другу бутылку бананового пива. Их смех был громким, истеричным, неестественным.

Мы спрятались за кустом бугенвиллии. Я прижала ладонь ко рту Лейи, хотя она и так молчала. К блокпосту подошел мужчина. Я знала его — это был господин Гатаре, учитель математики из соседней школы. Он был в костюме, с портфелем, словно шел на урок. Он выглядел растерянным, нелепым в этом хаосе.

— Эй, учитель! — крикнул Томас. — Куда спешишь? Уроки отменены!

— Я иду к брату, — голос Гатаре дрожал. — Пропустите меня, Томас. Ты же знаешь меня. Я учил твоего сына.

— Мы всех знаем, — ухмыльнулся угольщик. — Покажи удостоверение.

Гатаре замешкался. Его руки тряслись, когда он доставал документы из внутреннего кармана пиджака. Он протянул книжечку. Томас открыл ее, провел грязным пальцем по строкам, словно не умел читать, хотя прекрасно знал, что искать.

— Тутси, — громко объявил он, поворачиваясь к остальным. — Учитель у нас — высокое дерево.

— Я ничего не сделал, — прошептал Гатаре. — Я просто учитель.

— Ты таракан, — сказал сын аптекаря. Спокойно, буднично, как констатируют факт погоды. — А тараканы разносят грязь.

То, что произошло дальше, не укладывалось в сознание. Это было слишком быстро. Слишком просто. Не было суда, не было обвинения, не было даже злости. Было движение руки. Сын аптекаря взмахнул мачете. Удар пришелся в шею. Гатаре упал, его портфель отлетел в сторону, рассыпав тетради по красной пыли. Толпа на блокпосту одобрительно загудела. Кто-то засвистел.

— Хорошая работа! — крикнул Томас. — Тащите его в канаву. Следующий!

Я зажмурилась, прижимая голову Лейи к своей груди, чтобы она не видела. Но я не могла закрыть ей уши. Звук падения тела, звук ударов — глухих, влажных — впечатался в воздух. Скорость. Вот что было самым страшным. Убийство человека заняло меньше минуты. Это была не драка, не борьба. Это была процедура. Конвейер. Они убивали с эффективностью мясников, разделяющих туши.

Мы поползли назад, в гущу кустарника. Мое сердце билось так сильно, что мне казалось, его стук слышен на всей улице. Мы не могли идти по дорогам. Дороги принадлежали им. Нам оставались только щели, канавы, задворки.

Мы пробирались через чужие дворы. В одном из них я увидела женщину, стирающую белье в тазу. Вода была розовой. Она не поднимала головы, ритмично погружая руки в пену, хотя в десяти метрах от нее, у ворот, лежало тело ее соседа. Она стирала, чтобы не видеть. Чтобы создать островок нормальности в океане безумия. Я хотела окликнуть ее, попросить воды, но поняла, что нельзя. Нормальность умерла. Любой контакт мог стать смертельным.

В кармане жгло удостоверение. Жан был прав. Я достала его. Маленькая книжечка с моей фотографией, где я улыбаюсь, глядя в объектив. Имя отца. Имя матери. И это слово. Я разорвала его на мелкие кусочки и закопала в рыхлую землю под банановой пальмой. Теперь я была никем. Женщиной без имени, без прошлого. Но мое лицо осталось при мне. Мой рост, мой нос, мои черты — их нельзя было порвать и закопать. Мое тело само по себе было документом, который каждый патрульный умел читать.

К полудню мы добрались до окраины района Кичукиро. Здесь, среди плотной застройки, хаос был еще гуще. Люди бежали во всех направлениях. Кто-то тащил матрасы, кто-то — канистры с водой. Но большинство бежало налегке, с пустыми руками и глазами, полными ужаса. Я увидела грузовик, медленно едущий по улице. В кузове стояли люди в форме и гражданские с оружием. Они пели. Это была та самая песня Симона Бикинди, которую я слышала по радио. Теперь она звучала вживую, усиленная десятками глоток. — Тубаце! Тубаце! (Бейте их! Бейте их!) — скандировали они.

Грузовик остановился у дома с зелеными воротами. Я знала этот дом. Там жила семья коммерсанта, богатые люди, у них была машина и спутниковая тарелка. Солдаты выпрыгнули из кузова. У одного из них в руках был лист бумаги. Список. Они не выбивали дверь. Они просто вошли, как входят хозяева. Через минуту раздались

выстрелы. Не один, не два — длинная очередь. А потом из ворот начали выносить вещи: телевизор, ковры, мебель. Мародерство шло рука об руку с убийством. Это была плата за «работу». Убей соседа — и его холодильник твой. Убей учителя — и можешь забрать его ботинки. Это превращало геноцид в выгодное предприятие, в социальный лифт для тех, у кого ничего не было.

Мы спрятались в недостроенном доме. Здесь пахло сырым бетоном и мочой. В углу сидела старая женщина. Она раскачивалась из стороны в сторону и что-то бормотала.

— Они забрали моих коров, — сказала она, глядя на нас, но не видя. — Они сказали, что коровы тутси едят траву хуту. Разве трава знает, чья она?

Я опустилась на пол рядом с ней, притягивая к себе Лейю. Дочь молчала. Она не проронила ни слова с тех пор, как мы вышли из дома. Ее молчание пугало меня больше, чем крики на улице. Она впитывала этот ужас, и я не знала, сможет ли она когда-нибудь выплеснуть его обратно.

Сквозь проем в стене я видела холм напротив. Там, среди зелени, поднимались столбы дыма. Один, два, десять. Горели дома. Дым был черным, жирным. Это горели не просто крыши. Это горела память. Я вспомнила слова из статьи, которую читала когда-то: «Скорость убийств в Руанде превышала скорость работы газовых камер в нацистских лагерях». Тогда это казалось абстракцией. Теперь я видела механику этой скорости. Она достигалась не технологиями, а массовостью участия. Когда убивает каждый третий мужчина, процесс идет невероятно быстро. Не нужны лагеря, не нужны поезда. Убийство доставляется на дом.

Вечером дождь все-таки пошел. Он хлынул внезапно, стеной, смывая пыль, но не смывая кровь. Вода в канавах стала бурой. Мы сидели в темноте, слушая шум ливня. Он заглушал крики, и это было благословением. Внезапно совсем рядом, за стеной, раздался голос. Кто-то включил радио. Громко, на полную мощность, чтобы перекричать дождь. Голос Валери Бемерики прорезал шум воды: «Не унывайте, друзья! Дождь — это благословение. Он смывает грязь, которую вы вычистили. Но работа еще не закончена. Посмотрите в кустах. Посмотрите в канавах. Тараканы боятся воды, они ищут сухие места. Проверьте недостроенные дома. Проверьте церкви. Никто не должен уйти».

Я сжалась в комок. Она говорила про нас. Она знала, где мы. Казалось, что она видит нас сквозь стены, сквозь эфир. Радио было вездесущим. Оно было наводчиком,

командиром, судьей. Лейя подняла голову и посмотрела на меня. В полумраке ее глаза казались огромными черными провалами.

— Мама, — прошептала она едва слышно. — Папа тоже нас ищет?

Этот вопрос ударил меня сильнее, чем мачете. Я вспомнила Жана, стоящего в дверях в своей новой рубашке. Жана, который сказал «мне нужно показаться». Жана, который знал, что мы пойдем искать укрытия.

— Нет, милая, — солгала я, глядя ее по спутанным волосам. — Папа нас защищает. Он остался там, чтобы они не пошли за нами.

Но я знала правду. Жан был частью системы, которая сейчас прочесывала холмы. И даже если он сам не поднимет руку на нас, он не поднимет руку и против тех, кто это сделает. Он выбрал сторону. В мире, поделенном на охотников и дичь, он решил надеть шкуру охотника, чтобы не стать добычей.

Мы не могли оставаться здесь. Радио подсказало убийцам, где искать. «Недостроенные дома». Нам нужно было двигаться. В никуда. В ночь. В дождь. Я взяла Лейю за руку. Ее ладонь была горячей и сухой.

— Вставай, — сказала я. — Нам нужно идти.

— Куда? — спросила она.

— Туда, где не ловит радио, — ответила я, зная, что такого места в Руанде больше нет.

Мы вышли под ледяные струи дождя. Впереди, в темноте, мерцали фонарики патрулей. Они двигались хаотично, как светлячки, но эти светлячки несли смерть. Мы шагнули в мокрую траву, и земля под ногами чавкнула, словно пытаясь удержать нас, втянуть в себя, спрятать в своей глубине — единственном безопасном месте, которое она могла предложить своим детям.

Глава 9. Болото

Грязь здесь имеет свой собственный вкус. Она не похожа на ту землю, на которой мы выращивали фасоль или строили дома. Эта грязь — жирная, черная, пахнущая гнилью и стоячей водой — заполняет рот, забивается в уши, проникает под ногти. Она становится второй кожей. Мы лежим в болоте уже третий день, или, может быть, четвертый. Время здесь потеряло свою линейность. Оно больше не измеряется часами или минутами, оно измеряется сменами убийц и движением солнца, которое то печет затылок, то прячется за свинцовыми тучами, оставляя нас дрожать от холода в ледяной воде.

Мы не пошли в церковь. Это было инстинктивное решение, животный страх, который оказался мудрее человеческой надежды. Когда мы бежали, мы видели, как потоки людей стекаются к кирпичному зданию прихода Ньямата. Они несли матрасы, канистры с водой, детей на спинах. Они думали, что стены дома Божьего — это крепость. Они верили в святость места. Но я помнила глаза Жана. Я помнила, как легко священное становится мишенью. Церковь — это ловушка. Это загон, куда пастухи сгоняют скот перед тем, как начать забой. Мы свернули в сторону, к низине, где река разливается, образуя лабиринт из папируса и высокой осоки.

Теперь мы — часть этого болота. Мое тело погружено в воду по грудь. Ноги увязли в иле так глубоко, что я перестала их чувствовать. Лейя сидит у меня на спине, обхватив мою шею руками. Она легкая, пугающе легкая, как сухой лист. Она не спит, но и не бодрствует. Она находится в том странном состоянии оцепенения, когда организм отключает лишние функции, чтобы сохранить энергию для единственной задачи — дыхания.

Над нами, скрывая небо, смыкаются стебли папируса. Они острые, как бритвы. Любое неосторожное движение оставляет на коже тонкий, жгучий порез. Но мы не двигаемся. Мы учимся быть неподвижными, как коряги, как камни. Мы учимся не быть людьми.

Самое страшное в болоте — это не змеи и не малярийные комары, которые тучами вьются над головой на закате. Самое страшное — это звук. Вода прекрасно проводит звук. Мы слышим их голоса так отчетливо, словно они сидят рядом с нами в одной лодке.

Они на холме, на сухой твердой земле. Ополченцы «Интерахамве». Я вижу их силуэты сквозь просветы в тростнике. Они не выглядят как военные. На них разномастная одежда: футболки с логотипами западных брендов, рваные шорты, иногда — женские платки, повязанные на поясе как трофеи. Некоторые вымазали лица мелом или углем, превратившись в демонов из детских сказок. Но их действия лишены хаоса. Они организованы.

У них есть расписание. Я поняла это на второй день. Они работают сменами. Утром приходит одна группа. Они свежие, полные сил, громкие. Они спускаются к кромке болота, улюлюкая и свистя. Они бьют палками по воде, швыряют камни в заросли, стреляют наугад. Потом, когда солнце поднимается в зенит, раздается свисток. Первая смена уходит обедать. Они садятся на траву, открывают бутылки с пивом, едят жареное мясо. Запах еды доносится до нас, вызывая спазмы в пустом желудке. Это запах нормальной жизни, которая происходит в ста метрах от ада.

Пока они едят, наступает тишина. Но эта тишина обманчива, потому что именно в эти часы они включают радио на полную громкость.

Приемник стоит где-то на возвышении, возможно, на капоте машины. Ветер доносит до нас каждое слово. И это — изощренная пытка, о которой не писали в книгах про войну. Лежать в грязи, ожидая смерти, и слушать, как веселый голос обсуждает твоё уничтожение под модную музыку.

— Эй, вы, там, в болотах! — голос ведущего звучит бодро, почти дружелюбно. — Мы знаем, что вы там. Вы думаете, что вода вас спасет? Но вода высыхает. А мы никуда не спешим.

Это Кантано Хабимана. Я узнаю его интонации, его смешки. Он говорит с нами. Он знает, что у жертв нет возможности заткнуть уши. Он становится нашим единственным собеседником в этом одиночестве.

— Не ленитесь, друзья! — обращается он уже к убийцам. — Работа тяжелая, но необходимая. Грязь нужно вычистить. Если вы оставите хоть немного грязи в углу, она снова расплзется по всему дому. Вычищайте все. Проверяйте каждую нору. Даже маленькие тараканы вырастают в больших.

«Грязь». «Имянда».

Я смотрю на руки своей дочери, сцепленные у меня на шее. Маленькие пальцы с обкусанными ногтями. Грязь под ними — настоящая, болотная. Но радио говорит о другой грязи. О биологической. Оно говорит, что само существование моего ребенка — это антисанитария. Что ее дыхание загрязняет воздух Руанды.

Психологическое давление радиозфира работает как кислота. Оно разъедает волю. Когда тебе сто раз в день говорят, что ты не человек, что ты мусор, ошибка, паразит, — какая-то часть тебя начинает в это верить. Ты начинаешь чувствовать себя виноватым за то, что занимаешь место, за то, что хочешь пить, за то, что все еще жив. Я ловлю себя на мысли: может быть, если мы исчезнем, мир действительно станет чище? Может быть, они правы?

Я кусаю губу до крови, чтобы отогнать этот морок. Боль отрезвляет. Нет. Это ложь. Мы люди. У Лейи есть имя. У нее есть любимая кукла, которую мы потеряли при бегстве. У нее есть родинка на левом плече. Грязь не имеет имен.

Рядом с нами, метрах в десяти, прячется кто-то еще. Я не вижу их, но слышу дыхание. Тяжелое, хриплое дыхание старика. Иногда он начинает кашлять, и тогда я замираю от ужаса. Кашель в болоте — это сигнал маяка. Я мысленно умоляю его умереть. «Умри тихо, старик, — думаю я, и мне не стыдно за эти мысли. — Умри, пока они не услышали. Не тяни нас за собой».

Инстинкт выживания убивает эмпатию быстрее, чем пуля. Здесь нет солидарности. Мы — разрозненные атомы страха. Если ополченцы найдут его, я не двинусь с места. Я буду смотреть, как его убивают, и молиться, чтобы они насытились его смертью и не пошли дальше, к моему укрытию.

К вечеру на смену заступает новая группа. Эти более злые, уставшие или пьяные. Они не просто кричат. Они спускаются в воду.

Я слышу всплески. Чавк-чавк-чавк. Кто-то идет вброд. Они не заходят глубоко — боятся утонуть или испачкать форму, но они прочесывают край зарослей.

— Выходи! — орет мужской голос совсем близко. — Выходи, и мы сделаем это быстро! Обещаю! Не заставляй меня лезть в эту жижу!

Обещание быстрой смерти — это единственная валюта милосердия, которая у них осталась. И я знаю, что некоторые выходят. Не выдерживают напряжения. Не выдерживают холода. Не выдерживают голода. Они встают из тростника, поднимают

руки и идут навстречу мачете, просто чтобы это закончилось. Чтобы прекратить бесконечное ожидание.

Лейя шевелится на моей спине.

— Мама, пить, — шепчет она. Ее губы сухие, потрескавшиеся. Вокруг нас тонны воды. Но пить ее нельзя. Она мутная, коричневая. В ней плавают мусор, ветки и то, о чем я стараюсь не думать. Вчера течением пронесло мимо нас что-то раздутое, одетое в яркую ткань. Я закрыла Лейе глаза ладонью, но запах... сладковатый, тошнотворный запах разложения висит над водой плотным туманом.

— Потерпи, милая, — шепчу я одними губами. — Скоро пойдет дождь. Мы откроем рот и попьем.

— Когда дождь?

— Скоро. Небо темное.

Я набираю в ладонь немного воды, жду, пока осядет ил, и смачиваю ей лоб. Она горит. Ее тело — как маленькая печка. Только бы не малярия. Только бы не лихорадка. Если она начнет бредить, если она закричит...

Внезапно музыка на холме смолкает. Радиоведущий меняет тон. Теперь он говорит деловито, как прораб на стройке. «Внимание жителям сектора! Поступила информация, что многие тараканы укрылись в школе Святого Иосифа. Они думают, что иностранцы их спасут. Но иностранцы уезжают. Никто не придет за ними. Патриоты, вы знаете, что делать. Не забудьте инструменты».

Школа Святого Иосифа. Это в двух километрах отсюда. Там училась дочь моей подруги. Через полчаса мы слышим это. Не выстрелы. Выстрелы звучат сухо и коротко. Мы слышим гул. Это звук толпы. Тысячи голосов, сливающихся в единый вой. А потом — крики. Они доносятся до нас приглушенными расстоянием, но от этого не становятся менее страшными. Это не индивидуальные крики. Это хор ужаса.

Я зажимаю уши Лейе. Я прижимаю ее голову к своему плечу так сильно, что ей, наверное, больно. Я начинаю напевать ей прямо в ухо, без звука, одной вибрацией горла. Какую-то глупую колыбельную про козу, которая пошла на рынок. «Коза купила капусту, коза купила соль...» Я пою, чтобы перекрыть реальность. Чтобы создать звуковой кокон, внутри которого есть только коза и капуста, а не то, что происходит в школе Святого Иосифа.

Но радио продолжает комментировать. «Отличная работа в Ньямирамбо! — восторгается голос. — Наши братья потрудились на славу. Но помните: враг хитер. Они могут притворяться мертвыми. Проверяйте. Контрольный удар — это гарантия безопасности».

Солнце начинает садиться. Вода становится чернильной. Холод пробирает до костей. Мои ноги онемели настолько, что я боюсь, смогу ли я вообще когда-нибудь ходить. Но с темнотой приходит призрачная надежда. Ночью они боятся лезть в болото. Ночью духи убитых могут отомстить. Они верят в духов, эти люди с крестиками на шеях и мачете в руках. Их суеверия — наша защита.

На берегу зажигаются костры. Они жарят мясо. Ветер доносит запах дыма и жареной козлятины. Они празднуют. Они смеются. Кто-то играет на гитаре. Это сюрреалистическая картина: пикник на краю кладбища. Я вижу, как один из ополченцев подходит к воде. Он расстегивает штаны и мочится в болото.

— Эй, вы там! — кричит он в темноту, застегиваясь. — Спокойной ночи! Завтра мы принесем бензин. Выкурим вас, как ос.

Бензин. Это слово заставляет мое сердце пропустить удар. Если они подожгут папирус... Сухой тростник вспыхнет как порох. Мы сгорим заживо или задохнемся. Я смотрю на Лейю. Она уснула, уронив голову мне на ключицу. Ее дыхание прерывистое, со свистом. У нас есть только эта ночь. Завтрашнего дня не существует.

Я пытаюсь пошевелить пальцами ног. Боль возвращается — острая, колющая, как тысячи иголок. Это хорошо. Боль означает, что я еще жива. Я осторожно, стараясь не плеснуть водой, меняю положение, перенося вес на другую ногу. Болото чавкает, неохотно отпуская мою лодыжку.

В кармане моей мокрой рубашки лежит огрызок карандаша. Я нашла его в кармане джинсов. Бумаги нет. Но у меня есть потребность зафиксировать этот момент. Не для истории — истории больше нет. Для себя. Чтобы не сойти с ума. Я начинаю царапать ногтем по запястью другой руки. Не до крови, просто оставляя белые следы на грязной коже. Я пишу слова, которых не видит никто, кроме меня. «Вода. Ночь. Мы живы».

Внезапно совсем рядом, в камышах, раздается шорох. Не ветер. Не птица. Шаги. Кто-то пробирается сквозь заросли. Осторожно, медленно. Я замираю. Лейя во сне вздрагивает. Шорох приближается. Раздвигаются стебли папируса. В слабом свете луны,

пробившейся сквозь тучи, я вижу лицо. Это женщина. Ее глаза безумны. Она держит на руках сверток. Она смотрит на меня, потом на Лейю. Мы смотрим друг на друга — две тени в аду.

— Тише, — шепчет она, хотя я молчу. — Он хочет плакать. Не дай ему плакать.

Она прижимает сверток к груди. Там младенец. Он начинает возиться, набирая воздух для крика. Женщина смотрит на воду. Потом на ребенка. Потом снова на воду. В ее глазах я вижу решение, от которого у меня стынет кровь. Она понимает, что один крик погубит всех нас. И тех, кто на берегу, и нас, и старика в кустах. Она медленно опускает сверток в воду.

Я хочу закричать «Нет!», но мой голос умер. Я хочу броситься к ней, но мои ноги вросли в ил. Я просто смотрю. Она держит его под водой. Секунду. Две. Пузырьки воздуха поднимаются на поверхность и лопаются с тихим звуком. Плик. Плик. Потом она поднимает его. Он молчит. Она прижимает мокрое, маленькое тело к себе и начинает раскачиваться, глядя в пустоту. Беззвучно, страшно воя открытым ртом.

Я отворачиваюсь. Я утыкаюсь лицом в мокрые волосы Лейи. Я закрываю глаза, но этот звук — звук лопающихся пузырьков — теперь навсегда в моей голове. Громче, чем радио. Громче, чем выстрелы. Это и есть болото. Это место, где мать убивает свое дитя, чтобы спасти его от убийц. Это место, где выбор стоит не между жизнью и смертью, а между ужасом и еще большим ужасом.

На берегу кто-то подбрасывает дрова в костер. Пламя взлетает вверх, освещая кромку воды. Я вижу пустую канистру из-под бензина, валяющуюся на траве. Они не шутили. Я прижимаю дочь к себе.

— Мы уйдем, — шепчу я ей в сон. — Сейчас. Пока они пьяны. Мы должны ползти. Вглубь. Туда, где топь еще глубже, где нет дна, но где, может быть, не достанет огонь.

Я делаю шаг. Ил держит крепко, но я сильнее. Я — мать. И я еще не готова стать грязью.

Глава 10. Лицо мужа

Жажда — это не просто желание пить. Это зверь, который поселяется в горле и медленно, сантиметр за сантиметром, сдирает слизистую, превращая гортань в наждачную бумагу. На третий день в болоте жажда стала громче страха. Она заглушила инстинкт самосохранения, вытеснила мысли о патрулях и заставила нас ползти к краю топи, туда, где вода была чуть чище, где она текла, а не стояла гнилой лужей.

Мы двигались в сумерках. Солнце уже упало за холмы, но небо еще кровоточило багровым светом, отражаясь в черной воде. Лейя висела на мне тяжелым, горячим грузом. Ее кожа была сухой, как пергамент. Она больше не просила пить, и это пугало меня сильнее, чем ее плач. Тишина ребенка в такие моменты означает, что жизнь начинает экономить силы даже на словах.

Я раздвигала стебли папируса руками, изрезанными до мяса. Каждый шорох казался грохотом. Каждый всплеск воды звучал как выстрел. Но мы должны были добраться до ручья, впадающего в болото. Там, у корней эвкалиптов, была вода, которую можно пить, не рискуя умереть от дизентерии через час.

Мы выползли на мелководье. Здесь заросли редели, открывая вид на грунтовую дорогу, идущую вдоль кромки болота. Я зачерпнула воду ладонью и поднесла к губам дочери. Она пила жадно, давась, проливая драгоценные капли на грязную рубашку. Я пила следом, чувствуя вкус ила и железа, но для меня это был нектар.

И тут я услышала их.

Они не прятались. Им не нужно было прятаться. Они шли по дороге, громко разговаривая, смеясь, стуча палками по стволам деревьев. Это была не военная операция. Это была прогулка хозяев, проверяющих свои владения после удачной охоты.

Я прижала Лейю к земле, вдавливая ее в грязь, молясь, чтобы сумерки и камыш скрыли нас. Их было пятеро. Они остановились всего в десяти метрах от нас, чтобы закурить. Огоньки сигарет плясали в темноте, выхватывая фрагменты лиц, рук, одежды.

Один из них был одет в женскую блузку с цветочным принтом, натянутую поверх грязной футболки. На другом была шляпа священника. Трофеи. Они носили вещи убитых как карнавальные костюмы, превращая смерть в гротеск.

— Говорю тебе, в школе было пусто, — сказал тот, что в шляпе. — Кто-то предупредил их. Мы нашли только стариков.

— Ничего, — ответил другой голос, низкий и хриплый. — Завтра пойдем к реке. Они все бегут к реке. Там и встретим.

Я знала этот голос.

Мое сердце остановилось. Кровь отхлынула от лица, руки похолодели так, что я едва не выронила дочь. Этот голос я слышала каждое утро в течение десяти лет. Этот голос шептал мне слова любви, этот голос читал лекции по истории, этот голос пел колыбельные Лейе.

Я подняла голову, рискуя всем. Я должна была увидеть.

Жан стоял чуть в стороне от группы. Он опирался на длинную палку, как пастух. На нем были те же брюки, в которых он ушел из дома, но теперь они были покрыты коркой грязи до колен. Рубашка была расстегнута, рукава закатаны. В правой руке он держал мачете.

Он изменился. Это был не просто уставший человек или напуганный беглец. Его осанка стала другой. Он стоял расслабленно, по-хозяйски, широко расставив ноги. Так стоят мужчины, которые знают, что сила на их стороне. Он был частью этой стаи. Он не был пленником, которого заставили идти с ними. Он курил, выпуская дым в ночное небо, и слушал шутку товарища, слегка наклонив голову.

В этот момент Лейя пошевелилась. Грязь под ней чавкнула. Звук был тихим, мокрым, но в вечерней тишине он прозвучал отчетливо.

Человек в женской блузке резко повернулся.

— Слышали? — он вскинул самодельное копье. — Там, в камышах.

— Крысы, — лениво отозвался кто-то. — Или лягушки.

— Нет, это было крупнее лягушки.

Он шагнул к воде. Он был близко. Слишком близко. Если он сделает еще два шага, он увидит нас. Мы лежали в жидкой грязи, беззащитные, открытые.

И тогда Жан двинулся.

— Я проверю, — сказал он. Его голос был спокойным, деловитым. — У меня сапоги лучше. Не пачкайся, Патрик.

Он спустился к воде. Я слышала хруст веток под его подошвами. Я видела его силуэт, растущий надо мной, закрывающий небо. Он раздвинул камыш мачете.

Наши взгляды встретились.

Я ожидала увидеть в его глазах ужас, узнавание, боль, стыд — что угодно человеческое. Но я увидела пустоту. Его глаза за стеклами очков, которые теперь были треснуты и замотаны изолентой на дужке, были мертвыми. В них не было Жана. В них была только функция. Он смотрел на меня не как на жену. Он смотрел на меня как на объект, который нарушает порядок.

Лейя увидела его. Ее губы дрогнули, она набрала воздух, чтобы крикнуть «Папа!», но я зажала ей рот ладонью так сильно, что почувствовала вкус крови на пальцах. Она смотрела на отца, и в ее глазах умирало детство.

Жан стоял над нами. Он видел нас. Он видел свою дочь, лежащую в грязи, дрожащую от лихорадки. Он видел свою жену, превратившуюся в затравленное животное. Между нами было меньше метра. Длина лезвия мачете.

Время растянулось в бесконечную, звенящую струну. Я ждала. Я знала, что сейчас произойдет. Он должен закричать. Он должен позвать остальных. «Вот они! Я нашел!». Это его долг перед новой властью. Это его билет в безопасность. Если он не сделает этого, если они узнают, что он скрыл «тараканов», его убьют вместе с нами. Логика геноцида не допускает исключений для родственников. Смешанные браки стали проклятием. Мужья убивали жен, чтобы доказать лояльность. Отцы убивали детей, чтобы смыть «пятно» со своей биографии.

Он поднял мачете. Лезвие тускло блеснуло.

Я закрыла глаза, прикрывая собой Лейю. «Быстро, — подумала я. — Пожалуйста, сделай это быстро, Жан. Как ты учил. Как историческая необходимость».

Но удара не последовало.

— Ну что там, учитель? — крикнул голос с дороги. — Есть кто?

Жан молчал еще секунду. Я слышала его дыхание — тяжелое, с присвистом. Он смотрел на нас, и на его лице, покрытом щетиной и копотью, не дрогнул ни один мускул. Это было лицо незнакомца. Лицо статуи.

Потом он медленно опустил мечете. Он не кивнул. Он не моргнул. Он не сделал жеста «бегите». Он просто повернул голову назад, к дороге, и крикнул:

— Никого! Собака дохлая валяется. Вонь страшная.

— Тьфу ты, — сплюнул Патрик. — Пошли тогда. Пиво греется.

Жан снова посмотрел на нас. В этот последний момент я искала в его взгляде хоть искру прощания. Хоть тень сожаления. Но там было только холодное, расчетливое безразличие. Он не спасал нас. Он просто не хотел пачкать руки прямо сейчас. Или, может быть, он оставлял нас для чего-то худшего — для голода, для болезни, для других патрулей. Его милосердие было таким же страшным, как и его жестокость. Оно было механическим.

Он наклонился, зачерпнул горсть грязи и швырнул ее в воду рядом с нами, имитируя проверку. Брызги попали мне в лицо.

— Уходим! — скомандовал он своим товарищам. — Здесь пусто.

Он повернулся спиной. Я смотрела на его спину, обтянутую грязной рубашкой. Я видела, как напряжены его плечи. Он поднимался на насыпь, к своим новым братьям. Он возвращался в мир, где убийство называлось работой, а предательство семьи — гражданским подвигом.

— А ты меткий, Жан, — хлопнул его по плечу человек в шляпе, когда он вышел на дорогу. — Вчера того старика... с одного удара. Уважаю. Интеллигент, а рука твердая.

Жан рассмеялся. Это был короткий, лающий смех.

— Учусь, — ответил он. — Практика — лучший учитель.

Они двинулись дальше по дороге, растворяясь в темноте. Огоньки сигарет удалялись, пока не исчезли за поворотом.

Мы остались одни.

Я разжала руку, закрывавшую рот Лейи. Она не плакала. Она лежала неподвижно, глядя в ту точку, где только что стоял ее отец.

— Это был не папа, — прошептала она. Ее голос был сухим, ломким, как старая ветка. — Мама, это был не он. Папа умер, да?

Я посмотрела на нее и поняла, что не могу ей солгать. Тот Жан, который носил ее на плечах, который учил ее читать, который боялся пауков и любил жареную кукурузу — тот Жан действительно умер. Его убили не пулей и не ножом. Его убил страх и желание принадлежать к силе. Человек, который стоял над нами с мачете, был оболочкой, заполненной лозунгами и чужой кровью.

— Да, милая, — сказала я, чувствуя, как внутри меня что-то окончательно обрывается. — Папа умер. Это был просто... просто похожий человек.

Мы не могли оставаться здесь. Жан не выдал нас сейчас, но он знал, где мы. И это знание было опасным. Он мог вернуться. Или он мог сказать другим позже, когда выпьет достаточно пива, чтобы заглушить остатки совести. Или, что еще страшнее, он мог решить «исправить ошибку» своей слабости завтра, чтобы доказать себе, что он настоящий боец «Интерхамве».

Мы поползли обратно в глубь болота. Теперь грязь казалась мне не врагом, а единственным другом. Она была честной. Она пыталась убить нас просто потому, что такова ее природа, а не из-за идеологии.

Той ночью я поняла одну вещь о предательстве. Мы привыкли думать, что предательство — это горячий акт, момент страсти или злобы. Но предательство Жана было холодным. Это была бюрократическая процедура. Он вычеркнул нас из списка живых, как вычеркивают устаревший инвентарь. Он не убил нас физически, но он убил нас социально. Для него, для его нового мира, мы уже были мертвы. То, что наши сердца еще бились, было просто досадной технической задержкой.

Я вспомнила его руки. Руки, которые когда-то перелистывали страницы книг. Теперь на них была кровь того старика, о котором говорили на дороге. И, возможно, не только его. Мой муж стал убийцей. Не по принуждению, не под дулом пистолета, а потому что так было проще. Потому что отказ убивать требовал мужества стать жертвой, а у Жана не было этого мужества. Он выбрал быть палачом, потому что палачи едят досыта и спят в сухих постелях.

Где-то вдалеке снова затрещало радио. Ветер донес обрывки музыки. Это была веселая, ритмичная песня. Я представила, как Жан идет по дороге, подпевает,

размахивает мачете в такт, и чувствует себя частью огромного, сильного большинства. Ему больше не нужно думать. Ему не нужно выбирать. За него все решили.

Я обняла Лейю, пытаюсь согреть ее своим теплом. Но я сама была холодной, как лед. Встреча с мужем забрала у меня последнюю иллюзию — иллюзию того, что любовь может быть сильнее системы. Система перемолола любовь за несколько дней, превратив ее в «дохлую собаку», валяющуюся в камышах.

Мы ползли дальше, в темноту, оставляя за спиной человека, который когда-то был моим миром, а теперь стал его самым страшным кошмаром. И в этой темноте, под кваканье лягушек, я начала хоронить его в своей памяти. Я хоронила его улыбку, его запах, его голос. Я должна была убить его внутри себя, чтобы выжить. Потому что если я продолжу любить того, кто стоит на дороге с мачете, эта любовь убьет нас обеих.

Глава 11. Тишина дочери

Тишина — это не просто отсутствие звука. Это физическая субстанция, тяжелая и вязкая, как та грязь, в которой мы лежали. После того как спина Жана исчезла за поворотом дороги, растворившись в сумерках вместе с огоньками сигарет и смехом убийц, мир вокруг нас изменился. Он не стал громче, хотя лягушки продолжали квакать, а где-то вдалеке все так же трещали автоматные очереди. Мир стал плоским. Из него исчезло измерение будущего.

Лейя не закричала, когда увидела отца с мачете в руке. Она не заплакала, когда он назвал нас «дохлой собакой». Она просто выключилась. Я чувствовала это физически, держа ее руку в своей. Сначала ее ладонь была горячей и влажной, пульсирующей страхом, но в тот момент, когда Жан отвернулся, ее рука стала вялой, как у тряпичной куклы. Жизнь, казалось, отступила вглубь ее маленького тела, спряталась в самых дальних уголках, чтобы не быть замеченной.

Мы ползли обратно в гущу папируса, подальше от дороги, подальше от того места, где реальность раскололась окончательно. Я тащила дочь за собой, и она двигалась

механически, переставляя колени и локти, но ее взгляд был направлен в никуда. Она смотрела сквозь стебли, сквозь воду, сквозь меня.

— Лейя, — шептала я, когда мы нашли относительно сухое место на кочке, окруженной черной водой. — Лейя, посмотри на меня. Мы живы. Он ушел.

Она не моргнула. Ее глаза, обычно живые и подвижные, превратились в два черных зеркала, отражающих лишь темноту болота. Она молчала. Это было не упрямое молчание обиженного ребенка. Это была немота свидетеля, который увидел нечто, для чего в человеческом языке не существует слов. Она видела, как человек, который был ее вселенной, ее защитой, ее богом, превратился в функцию уничтожения. И этот вид выжег в ней способность говорить.

Но у меня не было времени разбираться с ее душой. Мое собственное тело начало бунт.

Боль пришла не сразу. Сначала это было тянущее чувство внизу живота, похожее на тяжесть камня, который я проглотила. Я пыталась игнорировать это. Я говорила себе, что это голод, что это холодная вода, что это спазм от страха. Но боль нарастала, становясь ритмичной, схваткообразной. Она накатывала волнами, заставляя меня сжимать зубы, чтобы не застонать.

Я была на четвертом месяце. Ребенок внутри меня был еще тайной для мира, но для меня он был обещанием. Мы с Жаном еще не выбрали имя, но мы спорили о том, на кого он будет похож. Жан хотел мальчика, «наследника истории», как он шутил. Теперь этот наследник умирал внутри меня, не выдержав тяжести той истории, в которую его пытались втянуть.

Стресс, истощение, обезвоживание, постоянный ужас — все это стало ядом. Мой организм, мудрый и жестокий в своей биологической логике, принял решение. В условиях, несовместимых с жизнью, он избавлялся от лишней нагрузки. Он жертвовал будущим ради настоящего.

Я свернулась калачиком на гниющих листьях, обхватив живот руками.

— Мама? — Лейя не произнесла это вслух. Я просто почувствовала, как ее рука коснулась моего плеча. Легкое, невесомое касание. Я не могла ей ответить. Очередная волна боли скрутила меня, выжимая воздух из легких. Мне казалось, что кто-то вставил мне в живот раскаленный нож и медленно поворачивает его.

Самым страшным был не сам факт потери. Самым страшным была физиология процесса в условиях болота. Здесь, где каждый запах мог привлечь диких собак или патруль, запах крови был смертным приговором. Я знала это. Животный инстинкт кричал мне: «Не смей кровоточить! Спрячь это!». Но я не могла остановить природу.

Это случилось под утро, в тот самый час, который называют волчьим. Небо было серым, низким, беззвездным. Дождь прекратился, оставив после себя липкий туман. Я чувствовала, как жизнь вытекает из меня — теплая, липкая жидкость, смешивающаяся с холодной грязью.

Я закусила рукав своей рубашки, чтобы не завывать. Слезы текли по лицу, смешиваясь с потом и болотной жижей. Это были слезы не только от боли. Это было прощание. Я прощалась с тем, кто никогда не увидит солнца. С тем, кто никогда не узнает, что его отец стал убийцей. Возможно, в этом было какое-то извращенное милосердие судьбы. Этот ребенок не станет ни жертвой, ни палачом. Он останется чистым.

Когда все закончилось, я лежала без сил, чувствуя, как холод проникает в самые кости. Рядом со мной, на листе огромного папоротника, лежало то, что могло стать человеком. Маленький, несформировавшийся сгусток материи. Я смотрела на него и не чувствовала ничего, кроме огромной, всепоглощающей пустоты. Мое тело стало пустым. Моя душа стала пустой. Мир сузился до размеров этой кочки. Не было больше ни Руанды, ни Африки, ни планеты Земля. Было только пятно крови на грязи и дрожащая спина моей дочери, которая сидела, отвернувшись.

Лейя знала. Дети чувствуют смерть острее, чем взрослые. Она сидела, обхватив колени руками, и раскачивалась. Вперед-назад. Вперед-назад. Беззвучный метроном горя. Она не повернулась, не посмотрела. Она берегла себя от еще одного зрелища, которое могло бы окончательно разрушить ее рассудок.

Мне нужно было скрыть следы. Я не могла оставить это здесь. Я начала рыть яму руками. Грязь поддавалась легко, она была мягкой, податливой. Я рыла могилу в болоте, и мои руки были по локоть в черной жиже. Я похоронила своего нерожденного ребенка под корнями старого эвкалипта, который чудом вырос на краю топи. Без молитвы. Без креста. Без имени. Только слой грязи и гнилых листьев сверху.

— Прости, — прошептала я земле. — Прости, что я не смогла тебя удержать.

Я попыталась отмыться. Вода в болоте была мутной, но она смывала кровь. Я терла кожу пучком травы, стараясь стереть запах, стереть память тела о беременности. Я должна была снова стать просто беженкой, просто мишенью, а не матерью, потерявшей дитя. Слабость накатывала волнами. Голова кружилась. Я знала, что мне грозит инфекция, сепсис, лихорадка. Здесь не было антибиотиков, не было чистых простыней. Только иммунитет, подорванный голодом.

Лейя перестала раскачиваться. Она легла на бок, свернувшись в позу эмбриона — ту самую позу, которую только что покинул ее нерожденный брат или сестра. Она закрыла глаза. Я подползла к ней, легла рядом, пытаюсь согреть ее своим телом, которое само дрожало от озноба.

— Лейя, — позвала я. — Скажи что-нибудь. Пожалуйста. Попроси воды. Скажи, что тебе страшно. Только не молчи.

Она открыла глаза. В них не было узнавания. Она смотрела на мои губы, как глухонемая, пытающаяся прочитывать по ним смысл, но смысла больше не было. Слова потеряли свою ценность. Слова «папа», «любовь», «защита» стали ложью. А если главные слова — ложь, то зачем нужны остальные?

Ее молчание стало третьим присутствующим на нашей кочке. Оно было плотным, осязаемым. Это была стена, которую она возвела между собой и миром. За этой стеной она была в безопасности. Там, внутри своей головы, она, возможно, все еще была в нашем доме, играла с куклами, и папа проверял тетради за столом. Снаружи был ад. И она отказалась участвовать в этом аду даже звуком.

День прошел в полубреду. Солнце поднималось и опускалось, меняя оттенки серого на оттенки черного. Я то проваливалась в сон, то выныривала из него, разбуженная звуками выстрелов или криками птиц. В какой-то момент я услышала радио. Ветер переменился, и звук стал отчетливее. Это был голос Валери Бемерики. Она смеялась. «Женщины-тараканы думают, что они могут спрятать свое потомство, — вещал голос, искаженный расстоянием и статикой. — Но мы знаем, что змея рождает только змею. Не оставляйте никого. Даже младенцев. Маленькая змея вырастет и укусит вас».

Я слушала это, лежа на свежей могиле своего ребенка, и чувствовала, как внутри меня поднимается холодная, ледяная ярость. Они говорили обо мне. О том, что я только

что потеряла. Они превратили мое горе в биологическую угрозу. Для них мой нерожденный ребенок был не трагедией, а предотвращенной опасностью.

Эта ярость стала тем топливом, которое не дало мне умереть в тот день. Если бы я поддалась горю, я бы просто закрыла глаза и позволила болоту поглотить меня. Но голос из радиоприемника, этот веселый, издевательский голос, заставил меня сжать кулаки. Я не дам им этого удовольствия. Я выживу. Назло им. Назло Жану. Назло этому проклятому миру.

Я посмотрела на Лейю. Она лежала неподвижно, глядя на жука, ползущего по стеблю тростника. Жук был ярко-зеленым, блестящим, совершенным в своей безразличности к геноциду. Лейя следила за ним глазами, и в этом взгляде была такая концентрация, такое отчаянное цепляние за микроскопический кусочек нормальности, что я поняла: она тоже борется. По-своему. Ее молчание — это ее способ сохранить себя. Она не тратит силы на крик. Она копит их, чтобы не рассыпаться.

К вечеру у меня поднялась температура. Мир начал плыть. Деревья на берегу казались гигантскими чудовищами, склонившимися над водой. Звуки растягивались, превращаясь в гул. Я знала, что это начало конца, если я не найду воду и еду. Но я не могла встать. Ноги не слушались. Кровь все еще сочилась, забирая последние силы.

В бреду мне привиделся Жан. Он стоял в воде, чистый, в своем выходном костюме, и протягивал мне руку.

— Идем домой, Има, — говорил он своим прежним, мягким голосом. — Я купил хлеба. Лейя ждет.

Я потянулась к нему, но моя рука прошла сквозь него. Он рассыпался на тысячи черных мух, которые взвились в воздух с жужжанием.

— Дохлая собака, — прожужжали мухи голосом Жана. — Дохлая собака.

Я очнулась от того, что кто-то тряс меня за плечо. Лейя. Она сидела надо мной. В ее руках был лист широколистного растения, свернутый кульком. Внутри была вода. Мутная, грязная, но вода. Она поднесла лист к моим губам. Ее лицо было серьезным, сосредоточенным, как у маленькой старушки. Она не сказала ни слова. Ни «пей», ни «мама». Она просто наклонила лист, давая мне напиться.

Я пила, чувствуя песок на зубах, и смотрела на нее. Моя семилетняя дочь, которая только что потеряла отца и увидела, как мать хоронит ее брата, спасала меня. Она

переступила через свой страх, через свою кататонию, чтобы доползти до воды и принести ее мне. В этом жесте было больше любви, чем во всех песнях, которые когда-либо пели люди. И в этом жесте было больше правды, чем во всех речах политиков.

Она спасла меня не водой. Она спасла меня тем, что вернула мне роль. Я не могла умереть, пока она была рядом. Я была ее единственной нитью, связывающей с жизнью. Если я умру, она останется одна в этом болоте, среди трупов и убийц. Эта мысль прояснила сознание лучше любого лекарства.

Я села, преодолевая головокружение. Я взяла ее лицо в свои ладони. Оно было грязным, искусанным комарами, но прекрасным.

— Спасибо, — прошептала я. Она кивнула. Один раз. Коротко. И снова отвернулась, уставившись в темноту.

Мы сидели рядом, две выжившие женщины, большая и маленькая, окруженные ночью. Мы потеряли все. Дом, семью, будущее, голос. Но у нас осталось дыхание. Я положила руку на свой плоский, пустой живот. Там больше никого не было. Но рядом со мной билось сердце Лейи. Тук-тук. Тук-тук. Ритм, который был громче радио.

В ту ночь я поняла, что надежда — это не свет в конце туннеля. Надежда — это упрямство. Это способность сделать следующий вдох, когда все твоё существо хочет перестать дышать. Это способность выпить грязную воду, чтобы прожить еще один час. Мы стали частью болота. Мы научились быть тихими, как ил. Мы научились быть невидимыми. Лейя больше не говорила, но ее молчание изменилось. Это было больше не молчание жертвы. Это было молчание охотника, который затаился в ожидании шанса. Она наблюдала. Она запоминала. И я знала, что если мы выживем, она никогда не забудет лицо человека, который стоял на дороге с мачете.

В темноте что-то плеснуло. Крупная рыба или крокодил. Или еще одно тело, сброшенное в воду. Я прижала дочь к себе. Мы были точкой боли в огромном, равнодушном мире. Но эта точка была живой. И пока она была живой, победа убийц не была полной. Я закрыла глаза и представила, как корни эвкалипта оплетают маленькое тельце в земле, превращая его в часть дерева. Мой сын стал лесом. А мы с Лейей должны были стать камнями, чтобы пережить этот поток.

На рассвете туман рассеялся, и я увидела на берегу, совсем близко, забытый кем-то предмет. Это был школьный учебник. Он лежал раскрытым, страницы размокли от

влаги. Ветер шевелил их. Я присмотрелась. Это был учебник истории. Тот самый, по которому преподавал Жан. Страницы переворачивались сами собой, словно невидимая рука искала ответ, которого там не было.

Глава 12. Сто дней

Время в болоте не течет по прямой линии. Оно сворачивается в кольца, как змея, кусающая свой хвост. Позже, когда люди в чистых рубашках и с блокнотами начнут подсчитывать ущерб, они назовут этот период «Сто дней». Красивое, круглое число. Исторически значимое. Наполеоновское. Но для нас, лежащих в грязи, никакой сотни не существовало. Был один бесконечный, серый день, который иногда прерывался черными провалами ночи, но никогда не заканчивался по-настоящему.

Мы потеряли счет неделям. Календарь, который я держала в голове первые дни, рассыпался. Я больше не знала, апрель сейчас, май или июнь. Сезон дождей заканчивался, вода в папирусе начинала спадать, обнажая то, что лучше было бы оставить скрытым. Гниющие корни, потерянные ботинки, раздутые мешки с вещами и тела. Много тел. Река Акагера, в которую впадали ручьи с наших болот, стала конвейером смерти. Иногда течение приносило их к нам в заводь — тихих, страшных гостей, которые напоминали нам о том, что происходит на твердой земле.

Мы научились сосуществовать с мертвыми. Это была самая страшная адаптация психики. В первую неделю вид трупа вызывал рвоту и панику. На второй месяц тело, застрявшее в корягах, воспринималось просто как объект ландшафта, как бревно или камень, который нужно обогнуть. Дегуманизация работала в обе стороны: убийцы перестали видеть людей в нас, а мы, жертвы, перестали видеть людей в тех, кто уже ушел. Они становились просто материей.

Однажды утром, когда туман был особенно густым, к нашему укрытию прибило мальчика. Он был жив, но едва дышал. Ему было лет четырнадцать, но голод и ужас стерли возраст с его лица, превратив его в маленького старика. Его звали Руманзи. Он не

сказал нам своего имени сразу. Он вообще не говорил три дня. Он просто лежал рядом с Лейей на охапке сухого тростника и смотрел в небо немигающим взглядом.

От него исходил тяжелый, сладковатый запах разложения, хотя на нем самом не было глубоких ран. Позже, когда его язык немного оттаял, он рассказал шепотом, почему от него так пахнет. Он выжил в резне у церкви Нтарамы. Когда нападавшие ворвались внутрь, он упал первым, еще до того, как его коснулось лезвие. А потом на него начали падать другие. Он пролежал под горой из тел своих соседей, друзей и родителей двое суток. Он дышал воздухом, пропитанным их кровью. Он притворялся мертвым так старательно, что смерть, казалось, поверила ему и прошла мимо, оставив на нем свой запах как метку.

Лейя, которая все еще хранила свое молчание, подвинулась, уступая ему место на сухой кочке. Она протянула ему улитку, которую нашла на стебле. Это был жест признания. Два ребенка, два осколка разрушенного мира, нашли друг друга в аду. Руманзи взял улитку дрожащими пальцами. В его глазах я увидела отражение той статистики, которую узнаю лишь годы спустя: он был одним из тысяч детей, чье детство закончилось не взрослением, а падением в братскую могилу.

Мир за пределами болота продолжал сходить с ума, но ритм этого безумия менялся. Если в апреле это была ярость взрыва, хаотичная и горячая, то к июню убийство превратилось в рутинную, тяжелую работу. Мы слышали их голоса с берега. В них больше не было того пьяного азарта. Была усталость.

— Сколько еще? — спрашивал чей-то голос, глухой от утомления. — Мы вычистили школу. Мы вычистили больницу. Где они прячутся?

— Везде, — отвечал другой. — Они как сорняки. Ты срезаешь верхушку, а корни остаются. Комай глубже.

Они устали убивать, но не могли остановиться. Механизм, запущенный пропагандой, набрал такую инерцию, что его невозможно было затормозить. Я лежала в воде и думала о математике этого процесса. Позже я прочитаю, темп убийств в Руанде был чудовищным даже по меркам истории массового насилия: за очень короткий срок были убиты сотни тысяч людей. Доходило до десяти тысяч человек в день. Каждый день. Представьте себе маленький город, где все знают всех. И представьте, что к закату этого города больше нет. А на следующий день исчезает следующий. И так сто раз подряд.

Это была не война. На войне есть фронт, есть тыл, есть стратегии. Здесь фронт проходил через каждую кухню, через каждый класс, через каждый церковный неф. Оружием было не высокоточное наведение, а сельскохозяйственный инвентарь. Это делало процесс интимным. Убийца видел глаза жертвы. Он чувствовал сопротивление кости, когда опускал мачете. И чтобы делать это сто дней подряд, нужно было убить что-то внутри себя.

Но в начале июля воздух изменился. Сначала мы заметили это по звукам. Артиллерийская канонада, которая раньше была далеким, глухим рокотом на севере, стала приближаться. Земля в болоте начала вибрировать. Это были не минометы ополченцев. Это было тяжелое оружие.

— Иниензи идут, — прошептал Руманзи. Это были его первые слова за сутки. — Они близко.

Радио, наш постоянный мучитель, тоже изменило тон. Голоса ведущих RTLM, раньше полные бравады и издевательского смеха, стали истеричными. Они больше не шутили. Они кричали. «Вставайте! Все вставайте! — вопил Кантано Хабимана. — Они идут, чтобы убить нас всех! Они не пощадят никого! Бегите! Бегите в Заир! Спасайте свои жизни!»

Риторика перевернулась мгновенно. Те, кто три месяца призывал к уничтожению «тараканов», теперь примеряли на себя роль жертв. Они использовали тот же страх, который разжигали в нас, чтобы погнать собственный народ в изгнание. Они не хотели оставлять свидетелей. Они хотели увести население с собой, чтобы использовать его как живой щит.

А потом радио замолчало. Это случилось внезапно. Просто исчезла несущая частота. Остался только белый шум — шипение пустого эфира. Этот звук был страшнее, чем угрозы. Он означал, что власть рухнула. Что передатчики демонтированы или брошены. Что голоса, управлявшие страной, бежали, оставив своих слушателей наедине с последствиями их «работы».

Мы не знали, что делать. Тишина была ловушкой? Или это был конец? Три дня мы не решались выйти. Мы ели корни кувшинок и пили грязную воду, слушая, как мимо, по дороге на запад, движется огромная, бесконечная колонна. Это был исход. Тысячи людей, нагруженных матрасами, козами, кастрюлями, уходили в сторону границы.

Среди них были и убийцы, и те, кто просто стоял рядом, и те, кто боялся мести. Это была река человеческого страха, текущая параллельно реке мертвых.

На четвертый день мы услышали другие шаги. Они не шаркали, как беженцы, и не топали беспорядочно, как ополченцы. Это был ритмичный, тяжелый шаг военных ботинок. Люди шли молча. Никаких песен, никаких лозунгов. Только лязг амуниции и короткие команды.

Я выглянула сквозь заросли. На берегу стояли люди в камуфляже. Настоящем, не самодельном. У них были автоматы, и они держали их правильно — стволами вниз, пальцы на спусковых скобах, но не на крючках. Дисциплина. Это слово, забытое за сто дней хаоса, вернулось в наш мир. Один из солдат, высокий, худой, с усталым лицом, подошел к кромке воды. Он не стал стрелять в кусты. Он не стал кричать оскорбления. Он крикнул на киньяруанда, но с акцентом, который я помнила по рассказам стариков — акцентом тех, кто вырос в изгнании, в Уганде.

— Есть кто живой? — крикнул он. — Выходите! Мы — Инкотаньи (Inkotanyi). Мы пришли остановить это. Не бойтесь.

«Не бойтесь». Самая страшная фраза. Нам говорили «не бойтесь», когда загоняли на стадионы. Нам говорили «не бойтесь», когда забирали мачете. Я сжала руку Лейи. Руманзи замер, превратившись в комок грязи. Мы не верили. Вера была роскошью, которую мы не могли себе позволить.

Солдат подождал. Потом он снял кепку, вытер лоб и сказал тише, словно говорил сам с собой:

— Мы знаем, что вы там. Мы видели следы. Мы не причиним вреда. Война окончена. Кигали наш.

Кигали наш. Я посмотрела на дочь. В ее глазах не было понимания, только бесконечная усталость. Но я должна была принять решение. Остаться здесь означало умереть от голода или инфекции. Выйти означало рискнуть получить пулю, но давало призрачный шанс. Я поднялась. Мои ноги дрожали так сильно, что я едва не упала обратно в воду. Я подняла руки вверх. Грязные, покрытые язвами, худые как палки руки.

— Не стреляйте, — прохрипела я. Голос был чужим, скрипучим.

Солдат вскинул голову. Он увидел меня. И в его глазах я не увидела ненависти. Я увидела ужас. Он, солдат, прошедший войну, смотрел на меня с ужасом, потому что я

выглядела не как человек. Я была призраком болота. Скелетом, обтянутым кожей, покрытым коркой ила.

— Боже, — выдохнул он. — Сюда! Медика! Здесь выжившие!

Он бросился в воду, не заботясь о ботинках. Он подхватил меня, когда я начала падать. Его форма была жесткой и пахла оружейным маслом и потом, но это был запах жизни. Он вытащил нас на берег — меня, Лейю, Руманзи. Мы сидели на траве, на твердой, сухой земле, и не могли поверить, что она не качается под нами. Солнце светило ярко, безжалостно освещая то, что мы пытались не замечать в темноте.

Руанда была мертва. Это было первое, что я поняла, выбравшись из укрытия. Страны, которую я знала, больше не существовало. Инфраструктура была уничтожена не бомбами, а запустением и мародерством. Столбы линий электропередач повалены. Дома сожжены или стоят с выбитыми окнами, как пустые черепа. Но самое страшное было на дорогах. Улицы были завалены. Не мусором. Телами. Они лежали везде — в канавах, на порогах домов, на перекрестках. Солнце делало свое дело, и воздух был плотным, почти твердым от запаха. Собаки, одичавшие и раскормленные человечиной, бегали стаями, не боясь живых.

Солдат дал Лейе флягу с водой и галету. Она взяла еду, но не стала есть. Она держала галету в руке, глядя на дорогу.

— Где все? — спросила она тихо. Это были ее первые слова за много дней.

— Ушли, — ответил солдат, присаживаясь рядом на корточки. — Или умерли. Но теперь все будет хорошо. Мы здесь.

Я смотрела на него и хотела кричать. «Хорошо»? Как может быть «хорошо» после этого? Вы опоздали. Вы пришли, когда 800 тысяч человек уже превратились в статистику. Вы пришли, когда мой муж стал убийцей, а мой нерожденный ребенок стал частью болотной почвы. Вы остановили руку с мачете, но вы не можете отменить удар, который уже был нанесен.

Нас погрузили в грузовик. Мы ехали через город-призрак. Я узнавала и не узнавала улицы. Вот рынок, где я покупала овощи — теперь там горы пепла и обгоревших досок. Вот школа, где училась Лейя — ворота распахнуты, во дворе разбросаны тетради и одежда. Стены школы были испещрены пулевыми отверстиями и черными пятнами от гранат.

Мы проезжали мимо церкви. Той самой, куда бежали люди в первые дни. Двери были открыты. Внутри было тихо. Но даже с дороги было видно, что скамьи убраны, а пол покрыт чем-то темным, слоем в несколько десятков сантиметров. Это была одежда. И кости. Руманзи, сидевший напротив меня в кузове, закрыл лицо руками. Он знал, что там внутри. Он был частью этой архитектуры смерти.

Грузовик остановился у стадиона, превращенного в лагерь для беженцев и госпиталь. Нас выгрузили. Врачи — уставшие люди с красными глазами — начали сортировку. Кому капельницу, кому перевязку, кому просто одеяло. Ко мне подошла женщина-врач. Она осмотрела мои ноги, изъеденные болотной гнилью.

— Вы везучая, — сказала она без эмоций. — Гангрены нет. Выживете.

«Выживете». Это слово звучало как приговор. Выжить означало помнить. Мертвым было легче. Их сто дней закончились. Наши сто дней только начинались, и они обещали длиться всю оставшуюся жизнь.

Вечером я сидела у стены стадиона, завернувшись в серое армейское одеяло. Лейя спала, положив голову мне на колени. Руманзи сидел рядом, глядя на костер, где солдаты варили кашу. Внезапно кто-то включил радио. Я вздрогнула, ожидая услышать голос Кантано или Валери. Ожидая приказа убивать. Но из динамика лилась музыка. Не гимны ненависти Симона Бикинди. Это была старая, печальная песня о любви и разлуке. А потом заговорил диктор. Голос был спокойным, серьезным. Он говорил о безопасности, о воде, о пунктах сбора. Он говорил на том же языке, теми же словами, но смысл был другим.

Я поняла, что радио — это просто коробка с проводами. Оно не злое и не доброе. Оно транслирует то, чем наполнено сердце того, кто сидит у микрофона. Но я знала, что никогда больше не смогу слушать его без дрожи. Для меня в каждом щелчке включения будет звучать эхо: «Валите высокие деревья».

Я посмотрела на свои руки. Грязь въелась в кожу так глубоко, что, казалось, стала частью пигмента. Я попыталась оттереть пятно на запястье, но оно не поддавалось. Сто дней закончились. Геноцид был остановлен. Мир признал, что это случилось. Но глядя на пустой, разрушенный город, освещенный фарами военных грузовиков, я поняла одну вещь. Мы не спаслись. Мы просто остались здесь, чтобы убирать тела.

На земле, у моих ног, валялся обрывок газеты, принесенный ветром. Я подняла его. Это был старый номер, еще довоенный. Там была фотография счастливой семьи, реклама мыла. «Чистота — залог здоровья», — гласил заголовок. Я скомкала бумагу в кулаке. Чистоты больше не существовало. Мы все были запятнаны — кто кровью, кто грязью, кто молчанием. И никакой дождь, даже самый сильный ливень в истории Руанды, не сможет это смыть.

Лейя пошевелилась во сне и что-то пробормотала. Я наклонилась, чтобы расслышать.

— Папа, — выдохнула она.

Я погладила ее по голове, чувствуя под пальцами колтуны грязных волос. Папы нет. Есть только человек, который ушел с отступающей армией в Заир, унося с собой свою «работу» и свою ненависть. И где-то там, за холмами, он, возможно, тоже смотрит на луну и думает, что он жертва. Война закончилась, но мир еще не наступил. Наступила только тишина — огромная, оглушительная тишина над миллионом могил.

Глава 13. Суд на траве

Трава на холмах Руанды обладает удивительным свойством: она умеет молчать и умеет расти быстрее, чем заживают раны. Когда-то на этой траве лежали тела, и земля была пропитана тем, что нельзя называть при детях. Теперь, спустя годы, на этой же траве расстилают циновки, ставят деревянные скамьи и вершат правосудие.

Слово «гачача» на языке киньяруанда означает мягкую траву, на которой собираются мужчины, чтобы обсудить дела общины. Это пасторальное, почти уютное название для процесса, где вскрывают грудную клетку памяти и достают оттуда еще бьющееся, черное сердце прошлого.

Каждый четверг я беру складной стул, бутылку воды и иду на поляну за школой. Я иду туда не потому, что верю в справедливость. Справедливость — это математическое уравнение, в котором обе части должны быть равны. Но если на одной чаше весов лежит миллион мертвых, что можно положить на другую, чтобы уравновесить их? Тюремные

сроки? Извинения? Общественные работы? Нет такой валюты в мире живых. Я иду туда, потому что мне нужна анатомия произошедшего. Я хочу понять механику.

Суд проходит под открытым небом. Здесь нет высоких трибун, молотков, париков и мантий. Судьи — это «иньянгамугайо», люди безупречной репутации, выбранные из местных жителей. Они сидят за длинным столом, повязанные лентами цветов национального флага. Среди них есть старый учитель, владелец лавки и женщина, которая плетет корзины. Они не юристы. Их задача — не толковать кодекс, а восстановить правду, собрать ее по осколкам, как разбитый кувшин.

Обвиняемые приходят в розовых робах. Этот цвет — цвет заключенных — странно, почти празднично смотрится на фоне яркой зелени эвкалиптов. Они сидят на траве, скрестив ноги, опустив головы. Некоторые из них — мои бывшие соседи. Люди, которые приходили к нам на свадьбу. Люди, у которых я покупала молоко. Теперь они — категория номер два или три. Убийцы и мародеры.

Сегодня очередь давать показания у человека по имени Жозеф. Я помню его. До войны он чинил велосипеды на перекрестке. У него были вечно черные от мазута руки и широкая, белозубая улыбка. Он любил шутить с детьми и бесплатно подкачивал шины. Жозеф встает. Он похудел, его лицо осунулось, но руки все те же — крупные, жилистые. Он держит микрофон так, словно это граната с выдернутой чекой.

— Я прошу прощения у Бога, у Президента и у Руанды, — начинает он. Это стандартная формула. Заученная, отшлифованная в тюремных камерах. Они знают: признание — это ключ. Признание делит срок пополам. Признание позволяет вернуться домой. Поэтому они торгуют правдой. Они выдают ее порциями, взвешивая каждое слово на весах выгоды.

— Расскажи нам, что ты делал седьмого апреля, — говорит председатель суда, пожилой мужчина в очках. Жозеф мнется. Он смотрит на свои ботинки.

— Мы слышали шум. Все бежали. Сказали, что нужно идти на блокпост. Я пошел. Я боялся, что если не пойду, то подумают, что я сообщник иниензи.

— Кто сказал? — Бургомистр. И радио. Радио говорило, что враг уже здесь. Что они убьют наших детей.

Я сижу в третьем ряду и смотрю на его затылок. Я жду. Я знаю, что он убил семью Мукалоне. Я видела, как он выносил из их дома матрасы. Но мне важно услышать не факт убийства, а мотив.

— Что ты чувствовал тогда, Жозеф? — спрашивает женщина-судья. — Ты знал этих людей. Ты чинил велосипед их сыну.

Жозеф молчит долго. Над поляной повисает тишина, в которой слышно жужжание мух и далекий крик птицы.

— Я ничего не чувствовал, — говорит он наконец тихо. — Было много шума. Все кричали. Радио... оно словно свело нас с ума. Голос из коробки сказал, что это не люди. Что это сорняки. Когда ты полешь огород, ты не жалеешь сорняки. Ты просто делаешь работу.

«Работа». Снова это слово. Оно всплывает на каждом заседании, как поплавок. Gukora. Они спрятались за этим глаголом, как за щитом. Убийство стало трудовой повинностью, общественно полезным делом. Жозеф не маньяк. Он не садист. Он — прилежный работник, который просто выполнял инструкцию, спущенную сверху.

В этом и есть ужас гачачи. Мы ищем монстров, а находим функционеров. Мы хотим увидеть в их глазах бездну ада, а видим лишь пустоту и страх перед начальством. Они рассказывают о расчленении людей тем же тоном, каким рассказывают о починке забора. Буднично. С деталями.

— Я ударил первым, — продолжает Жозеф. — Мачете застряло. Пришлось ударить еще раз. Потом подошли другие. Мы закончили и пошли пить пиво. Было жарко.

В толпе зрителей кто-то начинает плакать. Это тихий, скулящий плач, который невозможно остановить. Женщина в цветастом платке закрывает лицо руками. Это сестра убитого. Жозеф не смотрит на нее. Ему стыдно? Или ему просто неудобно? Система гачача построена на идее примирения. Предполагается, что если преступник расскажет правду, а жертва его выслушает, то яд выйдет наружу, и общество сможет исцелиться. Но я смотрю на Жозефа и не чувствую исцеления. Я чувствую тошноту.

Правда, которую мы слышим здесь, — это правда фактов, но не правда души. Они говорят «где» и «как», но почти никогда не говорят «почему». «Почему» всегда делегируется. Виновато правительство. Виноваты «Интерхамве». Виноват Симон

Бикинди. Виноват дьявол. Виноват страх. Самого человека в момент убийства как будто не было дома.

Следующим вызывают женщину. Ее зовут Беатрис. Она не носит розовую робу, она под следствием, но на свободе. Ее обвиняют в том, что она выдала убежище соседей. Беатрис стоит прямо, скрестив руки на груди. В ее позе вызов.

— Да, я показала, где они прячутся, — говорит она громко. — А что мне было делать? Солдаты сказали: если в этом секторе останется хоть один таракан, мы сожжем весь сектор. У меня трое детей. Я выбрала своих детей.

Толпа гудит. Это сложный момент. Материнский инстинкт против человечности. Беатрис не брала в руки мачете. Она использовала палец. Она просто указала на куст. Но этот жест убил пятерых.

— Вы получили их корову, — замечает судья, глядя в бумаги.

— Корова бродила одна, — огрызается Беатрис. — Ее бы все равно забрали. Почему не я?

Мародерство. Вторая, теневая сторона геноцида. Убийство было идеологическим, но грабеж был экономическим. Люди убивали, чтобы забрать землю, крышу, кастрюли, одежду. Бедность была топливом, которое подливали в огонь ненависти. Сосед с богатым домом был более желанной мишенью, чем бедняк. Идеология давала разрешение, а зависть давала энергию.

Я слушаю их и пытаюсь найти в их словах хоть тень того безумия, о котором они говорят. «Нас опоили», «нас заколдовали». Но передо мной стоят трезвые, рациональные люди. Они помнят все детали. Они помнят, кто кому был должен денег. Они помнят, где спрятали награбленное. Безумие не бывает таким расчетливым. Это была не вспышка ярости. Это был социальный контракт. Власть предложила им сделку: убейте своих соседей, и вы получите их жизнь. Их статус. Их вещи. И, самое главное, вы получите чувство принадлежности к большинству. Вы станете «настоящими».

Иногда на гачаче случаются прорывы. Неделю назад старик, убивший своих внуков (детей сына от жены-тутси), вдруг упал на колени и завыл. Не заговорил, а именно завыл, как раненый зверь. Он бил кулаками по земле, разрывая траву. Он кричал, что видит их лица каждую ночь. Что они приходят к нему и просто стоят у кровати. В тот момент розовой робы не стало. Остался только человек, раздавленный собственной

чудовищностью. Толпа молчала. Даже судьи не знали, что делать. Это была та самая правда, которую мы искали. Правда боли, которую невозможно вынести. Ему не дали смягчения срока, но, кажется, ему было все равно. Его тюрьма была внутри черепа, и из нее не было условно-досрочного освобождения.

Но чаще всего это театр. Театр теней на траве.

— Где тело моего мужа? — спрашивает женщина из первого ряда у очередного обвиняемого.

— В яме за церковью, — отвечает тот деловито. — Там, где растет старый фикус. Мы сбросили туда десятерых.

Женщина кивает и записывает что-то в блокнот. Теперь она знает. Теперь она может пойти туда, выкопать кости, обмыть их и похоронить по-человечески. Это главная функция гачачи — вернуть мертвым имена и места упокоения. Превратить «пропавших без вести» в «погибших». Это закрывает гештальт, но не закрывает рану.

Солнце поднимается выше, становится жарко. Воздух дрожит над холмами. Я смотрю на лица вокруг. Здесь сидят выжившие и родственники убийц. Мы сидим на одной траве, плечом к плечу. После суда мы пойдем по одной дороге. Мы будем покупать хлеб в одной лавке. Это самая сюрреалистичная часть послевоенной жизни. Принудительное соседство. В Европе после войны нацистов судили и изолировали, или они бежали. Здесь бежать некуда. Страна слишком маленькая. Убийца возвращается из тюрьмы и селится в доме напротив дома вдовы, мужа которой он убил. Они встречаются у колодца. Они кивают друг другу.

— Доброе утро, — говорит она.

— Доброе утро, — отвечает он.

И в этом «добром утре» больше напряжения, чем в заряженном пистолете.

Как жить в мире, где прощение — это не душевный порыв, а государственная политика? Нам говорят: «Вы должны простить, чтобы страна могла двигаться дальше». Но прощение нельзя декретировать. Прощение — это интимный акт, это отказ от права на месть. А когда у тебя отбирают право на месть силой, это не прощение. Это капитуляция.

Я смотрю на Жозефа, который подписывает протокол. Он выглядит облегченным. Он сдал свой груз. Он назвал имена, показал места, признал вину. Теперь он чист перед законом. Через пару лет он выйдет. Он вернется к своим велосипедам. Он снова будет улыбаться. А я? Я останусь с его исповедью. Я буду помнить, как он описывал удар мачете. Эти слова теперь живут во мне, заполняя пустоты, оставленные теми, кого я любила.

В перерыве ко мне подходит Мари, моя старая знакомая. Она потеряла всю семью. Она ходит на суды каждый день, как на работу.

— Ты слышала? — шепчет она. — Они нашли списки в префектуре. Те самые, по которым нас искали.

— И что? — спрашиваю я устало.

— Там есть подписи. Тех, кто составлял. Учителя, врачи. Интеллигенция. Те, кто учил нас гуманизму.

Я киваю. Меня это не удивляет. Я знаю, что геноцид — это не изобретение неграмотных крестьян. Крестьяне были руками. Головой были люди с дипломами. Люди, которые читали книги и слушали классическую музыку. Люди, похожие на моего мужа.

Мысль о Жане пронзает меня внезапно. Его здесь нет. Его дело не рассматривается на гачаче. Он — другая категория. Но я ищу его черты в каждом заключенном. Я ищу тот же излом бровей, ту же сутулость. Я пытаюсь понять: если бы он сидел здесь, на траве, что бы он сказал? Сказал бы он, что радио свело его с ума? Или он нашел бы более сложные, исторические оправдания? Цитировал бы он философов, объясняя необходимость чистки? Я боюсь, что его оправдания были бы самыми страшными. Потому что он понимал, что делает. Он не был одурманенным. Он сделал выбор в ясном сознании.

Заседание заканчивается. Заключенных строят в колонну, чтобы вести обратно в грузовик. Они идут, шаркая сандалиями по пыли. Розовая змея ползет по зеленому холму. Я остаюсь сидеть. Я смотрю на траву у своих ног. Она примята сотнями ног. Но завтра она поднимется. Дождь пройдет, и трава снова станет прямой и упругой. Она укроет землю, спрячет кости, впитает кровь. Природа равнодушна к нашей боли, и в этом ее величайшее милосердие. Холмы останутся холмами. Они видели королей, колонизаторов, революции и геноцид. И они будут стоять, когда последний из нас уйдет.

Я встаю, складываю стул. В моей сумке лежит блокнот, исписанный мелким почерком. Я записываю не юридические факты. Я записываю интонации. Паузы. Взгляды. Я пытаюсь сохранить человеческое измерение этой катастрофы, чтобы она не превратилась в сухую статистику учебников. Потому что, если мы забудем, как дрожал голос Жозефа, когда он говорил о «работе», мы рискуем однажды снова услышать этот призыв к работе. И снова найти его логичным.

На выходе с поляны я сталкиваюсь взглядом с женой Жозефа. Она принесла ему еду в узелке. Она смотрит на меня не с ненавистью, а с какой-то усталой мольбой. В ее глазах читается: «Дай нам жить. Просто дай нам жить». Я прохожу мимо. Я не могу дать ей отпущение грехов. Я не священник. Я всего лишь свидетель, который выжил, чтобы смотреть. И пока я смотрю, прошлое не может окончательно стать прошлым. Оно остается настоящим, пульсирующим в ритме сердца, которое помнит страх.

Вечером, дома, я долго мою руки. Я тру их щеткой, словно пытаюсь смыть невидимую пыль с той поляны. Но запах гачачи — запах пота, страха и примятой травы — преследует меня.

Глава 14. Анатомия лжи

Я сижу в комнате без окон, где воздух пахнет пылью и старой бумагой. Это архив. Здесь, на стеллажах, в картонных коробках и на магнитных лентах, хранится то, что осталось от «Свободного радио и телевидения тысячи холмов». Мои руки в белых хлопчатобумажных перчатках касаются кассеты. На ней черным маркером написана дата: апрель 1994 года.

Я здесь не как жертва. Я здесь как исследователь. Мне потребовались годы, чтобы найти в себе силы не просто помнить, а анализировать. Я хочу разобрать этот механизм на винтики. Я хочу понять, как именно слова, которые я любила, были превращены в пули.

Я надеваю наушники и нажимаю кнопку воспроизведения.

В уши врывается музыка. Это ритмичная, зажигательная мелодия, под которую так хорошо танцевать на свадьбе или готовить ужин. А потом, поверх музыки, вступает голос. Это Кантано Хабимана. Его голос звучит бодро, весело, почти ласково. Он шутит. Он смеется. И в этом смехе — ключ к пониманию того, как они взломали нас.

Если бы они начали с криков и угроз, мы бы испугались и закрыли двери. Но они начали с развлечения. Они стали нашими друзьями. Они приходили в наши кухни, в наши спальни, в наши машины. Они говорили на сленге, который понимала молодежь. Они ставили музыку, которую любили старики. Они создали иллюзию близости, иллюзию того, что радио — это голос народа, голос соседа.

Я слушаю запись эфира от мая 1994 года. Кантано говорит: «Вы знаете, что тараканы не умеют думать, как мы? У них нет совести. Они хотят забрать вашу землю. Если вы не убьете их, они убьют вас. Это закон природы, друзья. Или мы, или они».

Я останавливаю запись и перематываю назад. «Закон природы». Вот она, подмена. Они не призывали к преступлению. Они призывали к самообороне. Они перевернули реальность с ног на голову, убедив миллионы людей, что палач — это жертва, которая вынуждена защищаться.

Передо мной лежат копии документов Международного трибунала по Руанде. Дело ICTR-99-52, известное как «Медиа-процесс». Это исторические бумаги. Впервые в международном праве слово было официально приравнено к оружию. Судьи признали Фердинанда Нахиману, Жана-Боско Бараягвизу и Хасана Нгезе виновными в подстрекательстве к геноциду.

Я читаю заключение суда: «Сила воздействия этих СМИ была такова, что они не просто отражали насилие, они создавали его. Они направляли его. Без RTLМ и газеты “Кангура” масштаб трагедии был бы иным».

Это сухой юридический язык, но за ним стоит бездна. Я вспоминаю Жана. Моего мужа, учителя истории. Он не был глупым человеком. Он читал книги. Как он мог поверить в то, что его жена — враг?

Ответ я нахожу в стопке журналов «Кангура», лежащей на столе. Я открываю выпуск за декабрь 1990 года. Бумага пожелтела, но шрифт все такой же четкий. Заголовок кричит: «Десять заповедей хуту».

Я читаю их снова, хотя знаю наизусть. «Заповедь первая: Каждый хуту должен знать, что женщина-тутси, где бы она ни была, работает на интересы своей этнической группы. Следовательно, предателем является любой хуту, который женится на женщине-тутси, заводит с ней дружбу или нанимает её секретаршей».

Вот оно. Инструкция по уничтожению любви. Они не просто сказали «убивайте». Они сначала сказали «не любите». Они криминализировали близость. Они объявили, что моя любовь к мужу, моя забота о нем, наши дети — все это было частью заговора. Что я была не женой, а агентом влияния. Шпионкой в его постели.

Это была чудовищная манипуляция. Они использовали самый древний страх мужчины — страх быть обманутым женщиной. Они превратили интимность в зону боевых действий. Жан читал это. Сначала он смеялся. Потом он начал задумываться. А потом, когда страх стал воздухом, которым мы дышали, эти слова проросли в нем, как ядовитый плющ.

Я листаю дальше. Карикатуры. На них тутси изображены не как люди, а как карикатурные монстры, как насекомые. Это классическая дегуманизация. Психологи называют это «снятием морального барьера». Убить человека сложно. У человека есть глаза, у него есть имя, он похож на тебя. Но убить таракана (*inyenzi*) — это не грех. Это санитарная мера. Это «работа» (*gukora*).

Я нахожу статью, где редактор Хасан Нгезе пишет: «Мы должны быть бдительными. Враг коварен. Он прячется под маской соседа». Я думаю о том, как работает этот механизм. Социологи Лазарсфельд и Мертон еще в середине XX века писали о «наркотизирующей дисфункции СМИ». Когда информации слишком много, и она подается определенным образом, человек перестает анализировать. Он впадает в состояние когнитивного транса. Он потребляет информацию, но не переваривает её.

Жан был «наркотизирован». Поток ненависти был таким плотным, таким постоянным, что у него не осталось времени на сомнения. Радио работало везде: в барах, в автобусах, на рынке. Оно создавало альтернативную реальность, в которой убийство было нормой, а милосердие — предательством.

Я беру другую кассету. Это голос Валери Бемерики. Она не шутит. Она диктует. «Внимание, жители района Кичукиро. Обратите внимание на красную машину с номером... Там едут сообщники врага. Не дайте им уйти».

Я слышу, как она называет имена. Конкретные имена. Имена моих знакомых. Имена людей, которые уже мертвы. Радио превратилось из средства информации в координационный центр убийств. Это было не просто подстрекательство. Это было оперативное руководство.

В архивах трибунала я нашла показания свидетелей. Один из них, бывший ополченец, говорил: «Радио было нашим командиром. Мы слушали его, чтобы знать, куда идти. Если радио говорило, что там враги, мы не сомневались. Радио не может врать».

«Радио не может врать». Эта фраза — эпитафия на могиле критического мышления. Авторитет печатного слова и голоса из динамика был абсолютным. Фердинанд Нахимана, основатель RTLM, был историком, профессором. Интеллектуалом. Жан уважал его. Если профессор говорит, что тутси — пришельцы с Нила, которые хотят вернуть монархию и поработить хуту, кто такой простой школьный учитель, чтобы спорить?

Я думаю о том, как они использовали музыку. Симон Бикинди. Его песни крутили постоянно. «Я ненавижу этих хуту». Песня не о тутси. Песня о хуту, которые недостаточно радикальны. Это был инструмент внутреннего террора. Они запугивали своих же. «Если ты не с нами, ты против нас. Если ты не убиваешь, ты предатель».

Это объясняет, почему Жан взял мачете. Не только из ненависти ко мне. Из страха перед ними. Пропаганда создала мир, где нейтралитет был невозможен. Ты должен был замарать руки кровью, чтобы доказать свою лояльность племени. Это была круговая порука. Кровавая инициация.

Я смотрю на расшифровку эфира от июня 1994 года. Ведущий говорит: «Посмотрите на них. Они высокие. У них тонкие носы. Они смотрят на вас свысока. Они считают вас рабами». Они использовали наши физические черты как улики. Мое лицо, лицо моей дочери — все это стало преступлением. Они превратили биологию в идеологию.

Но самое страшное в этих записях — не слова ненависти. Самое страшное — это нормальность. Между призывами «валить высокие деревья» они передавали приветы, поздравляли с днями рождения, обсуждали футбол. Эта смесь обыденности и чудовищности делала насилие частью быта. Убийство стало таким же естественным делом, как поход за водой или стирка белья.

Я выключаю плеер. Тишина в архиве кажется оглушительной. Я снимаю наушники и тру виски. Голова раскалывается. Я чувствую физическую тошноту. Это не метафора. Яд, который лился из этих кассет тридцать лет назад, все еще токсичен. Он не выветрился.

Я пытаюсь понять, как вернуть себе язык. Слова «работа», «инструмент», «очистка», «коктейль» — все они были изнасилованы. Они получили новые, страшные значения. Как мне теперь писать слово «работа», не вспоминая мачете? Как мне писать слово «дождь», не вспоминая, что убийцы называли дождем кровь?

Мне нужно отмыть слова. Мне нужно вернуть им их первоначальный смысл. Это моя личная битва. Битва писателя против пропагандиста.

Я беру ручку и открываю блокнот. Я выписываю слова, которые слышала на пленке. *Inyenzi* (таракан). *Gukora* (работать). *Umwanzi* (враг).

А рядом я пишу их настоящие значения. Таракан — это насекомое. Работать — это созидать, строить дом, учить детей. Враг — это тот, кто хочет тебя убить, а не твой сосед.

Это кажется наивным упражнением, но для меня это способ восстановить порядок в мире. Я должна отделить ложь от языка. Язык не виноват. Виноваты те, кто его использовал.

В одной из папок я нахожу документ, который заставляет меня замереть. Это не транскрипт радио. Это письмо. Письмо от слушателя в редакцию RTLМ, датированное мартом 1994 года. «Спасибо вам за то, что открыли нам глаза. Раньше я думал, что мой сосед — хороший человек. Теперь я вижу, что он змея, которая ждет момента, чтобы укусить. Я готов защищать свою семью».

Почерк неровный, неуверенный. Это писал простой человек. Возможно, крестьянин. Возможно, рабочий. Этот листок бумаги — доказательство того, как глубоко проникла инфекция. Пропаганда не просто спускалась сверху. Она прорастала снизу. Она давала людям простые ответы на сложные вопросы. Почему ты беден? Потому что тутси забрали все богатства. Почему у тебя нет земли? Потому что тутси захватили её.

Они канализировали социальное недовольство, бедность, неустроенность в этническую ненависть. Они дали людям козла отпущения. И люди приняли этот дар с благодарностью. Легче ненавидеть соседа, чем разбираться в экономике или политике.

Я закрываю папку. На сегодня хватит. Я узнала достаточно. Я увидела анатомию лжи. Это не был хаос. Это была структура. Четкая, логичная, безжалостная структура. Архитекторы геноцида были не безумцами. Они были инженерами человеческих душ, которые построили конвейер смерти, используя слова вместо кирпичей.

Я выхожу из архива на улицу. Солнце слепит глаза. Мир вокруг кажется ярким и цветным, но я вижу его через призму черно-белых текстов «Кангуры». На парковке я вижу женщину, которая слушает радио в машине. Она смеется. Меня передергивает. Я знаю, что война закончилась. Я знаю, что RTLM больше нет. Но страх остался. Страх перед тем, как легко человеческий голос может превратиться в инструмент убийства.

Я иду к своей машине, сжимая в руке ключи. В моей голове крутится фраза из приговора трибунала: «Свобода слова не означает свободы подстрекательства к уничтожению». Это важный урок. Но выучили ли мы его? Или мы просто ждем следующего эфира?

Я сажусь за руль и смотрю на свое отражение в зеркале заднего вида. Я вижу женщину, которая выжила. Женщину, которая знает правду. Но знание правды не лечит. Оно только объясняет, почему рана не заживает.

На пассажирском сиденье лежит моя рукопись. Я пишу эту книгу не для того, чтобы обвинить Жана или Кантано. Я пишу её, чтобы зафиксировать технологию. Чтобы, когда в следующий раз кто-то начнет называть людей насекомыми, вирусами или грязью, мы знали, что будет дальше. Потому что сценарий всегда один и тот же. Сначала они убивают слово. Потом они убивают человека.

Я завожу двигатель. Радио включается автоматически. Я тянусь к кнопке и выключаю его. Я предпочитаю тишину. В тишине нет лжи. В тишине я могу слышать свои собственные мысли, а не голос, который говорит мне, кого ненавижу.

На дне моей сумки лежит копия еще одного документа. Это не из архива трибунала. Это список сотрудников школы, где работал Жан, составленный в 1993 году. Напротив его фамилии стоит пометка, сделанная красной ручкой. Не «уволить». Не «повысить». Там написано одно слово: *«Надежный»*. Это слово ранит меня сильнее, чем любое оскорбление. Для системы он был надежным. Он был идеальным винтиком. И именно эта «надежность», эта готовность принять правила игры, стала причиной нашей катастрофы. Он не был монстром. Он был конформистом. А в мире, построенном на лжи, конформизм — это самая страшная форма соучастия.

Глава 15. Письмо из тюрьмы

Конверт был грязно-желтым, шершавым на ощупь, словно бумага долго лежала в сыром помещении, впитывая запахи казенного дома: хлорки, кукурузной муки и сперттого человеческого дыхания. На нем не было марки, только штамп тюремной цензуры — размытый фиолетовый круг, похожий на синяк. Мое имя было написано шариковой ручкой, которая, видимо, то и дело переставала писать, заставляя автора с нажимом обводить буквы по несколько раз.

Я узнала этот почерк мгновенно. Даже спустя годы, даже сквозь искажения, вызванные, вероятно, дрожью руки или неудобной поверхностью тюремных нар, эти угловатые «т» и размашистые «р» ударили меня в солнечное сплетение сильнее, чем физический удар. Это был почерк человека, который когда-то подписывал мои открытки на день рождения. Почерк, которым проверялись школьные тетради. Почерк, который я считала похороненным в болотах Ньямирамбо или растворившимся в лесах Заира.

Жан был жив.

Все эти годы я жила в странном состоянии отложенного вдовства. Я не знала наверняка. Слухи приносили разное: одни говорили, что видели его в лагере беженцев под Гомой, другие утверждали, что он умер от холеры в девяносто четвертом, третьи клялись, что он вернулся с отрядами повстанцев и был убит при переходе границы. Я привыкла к его отсутствию как к форме смерти. Отсутствие было чистым. Оно позволяло мне помнить его разным — и тем, кто дарил цветы, и тем, кто стоял с мачете на дороге. Но живой Жан — это была проблема. Живой Жан требовал реакции.

Я сидела за кухонным столом, глядя на конверт, и мои руки жили отдельной жизнью. Они не дрожали, нет. Они окаменели. Я чувствовала холод в кончиках пальцев, словно кровь решила отхлынуть к сердцу, чтобы защитить жизненно важные органы от новости.

Лейя была в школе. В доме было тихо, только тикали часы на стене — звук, который раньше успокаивал, а теперь казался отсчетом времени до взрыва. Я взяла нож для масла

и вскрыла конверт. Звук разрываемой бумаги показался мне оглушительным, как треск ломающейся кости.

Внутри был один лист, вырванный из школьной тетради в клетку.

«Дорогая Има, Я жив. Я нахожусь в центральной тюрьме Кигали, в секторе для ожидающих приговора. Я знаю, что не имею права писать тебе. Я знаю, что ты, возможно, считаешь меня мертвым. Но я должен увидеть тебя. Хотя бы один раз. Я признал свою вину перед государством. Теперь мне нужно признать ее перед тобой. Пожалуйста, приезжай. Мне нужно передать тебе кое-что важное. Жан».

Никаких «люблю». Никаких «прости» в первой строке. Сухой, деловой тон человека, который привык экономить слова, потому что в тюрьме слова — это валюта, которую нельзя тратить впустую. «Признал вину перед государством». Эта фраза царапнула меня. Это была формула. Юридический термин. *Kwemera icyaha*. Признание вины. Билет на свободу или, по крайней мере, на жизнь без пожизненного заключения.

Я отложила письмо и подошла к окну. За стеклом мир оставался прежним. Женщина несла корзину с бельем на голове. Мальчишки гоняли мяч, сделанный из тряпок и полиэтиленовых пакетов. Солнце светило так же равнодушно, как и в тот день, когда мы прятались в болоте. Но для меня гравитация изменилась. Где-то в этом городе, всего в десяти километрах отсюда, дышал человек, который убил нашего нерожденного ребенка своим выбором. И он звал меня.

Первой реакцией было желание сжечь письмо. Уничтожить улику его существования. Сделать вид, что почтальон ошибся дверью. Зачем мне ехать туда? Чтобы увидеть что? Розовую робу? Бритую голову? Глаза, которые смотрели на нас в камышах и не увидели?

Но потом пришла другая мысль, холодная и острая. Он написал: «Мне нужно передать тебе кое-что важное». Это был крючок. Жан знал меня. Он знал, что любопытство и потребность в завершении гештальта сильнее моей ненависти. Он манипулировал мной даже оттуда, из-за колючей проволоки.

Я спрятала письмо в коробку с крупой, на самое дно. Лейя не должна знать. Пока не должна. Ее молчание, которое с годами превратилось в тихую, осторожную речь, было слишком хрупким достижением. Она только начала улыбаться. Она только начала спать

без света. Возвращение отца, даже в виде призрака из тюрьмы, могло разрушить эту тонкую конструкцию нормальности.

Вечером я пошла на рынок. Мне нужно было купить продукты. Не для нас. Для него. Это был абсурдный, унижительный ритуал, через который проходили тысячи женщин в Руанде. Жены убийц кормили своих мужей. Тюрьмы были переполнены — в камерах, рассчитанных на двадцать человек, спали по сто. Государство, разоренное войной, не могло прокормить армию заключенных. Еды не хватало. Если у заключенного не было родственников на воле, он медленно умирал от истощения или болезней.

Я стояла у прилавка с бананами и выбирала связку.

— Вам позеленее или спелые? — спросила торговка.

— Позеленее, — ответила я механически. — Чтобы дольше лежали.

Я покупала еду человеку, который, возможно, убил мужа этой торговки. Я чувствовала себя соучастницей. Я чувствовала на себе взгляды других женщин. Мы узнавали друг друга без слов. По опущенным плечам. По тому, как мы прятали глаза. Мы были кастой «женщин в розовом», хотя сами не носили робы. Мы носили вину наших мужей как вторую кожу.

Я купила мыло. Сахар. Немного жареного арахиса. Складывая эти простые, бытовые вещи в плетеную сумку, я думала о физиологии прощения. Нас учили, что прощение — это духовный акт. Священники говорили об этом с амвонов каждое воскресенье. Правительство говорило об этом по радио. «Единая Руанда». «Примирение». Нас призывали перевернуть страницу. Но никто не объяснял, как это сделать физически.

Как простить руки, которые держали мачете? Как простить голос, который отдавал приказы? Прощение подразумевает, что ты принимаешь человека обратно в круг людей. Что ты признаешь его право на ошибку. Но геноцид — это не ошибка. Это не случайность, когда человек оступился. Это система. Жан встраивал себя в эту систему шаг за шагом, день за днем. Он не был жертвой обстоятельств.

Я не могла его простить. Это было бы предательством той женщины, которая лежала в грязи и хоронила своего ребенка. Это было бы предательством Лейи, которая потеряла голос. Но я обнаружила в себе и другое: я не могла его ненавидеть. Ненависть — это горячее чувство. Оно требует энергии. Оно требует страсти. Моя ненависть

выгорела за эти годы, оставив после себя серую золу равнодушия. Я не желала ему смерти. Я не хотела, чтобы его пытали. Я просто хотела, чтобы его никогда не было. Чтобы он исчез из моей памяти, как стирается неудачный набросок ластиком.

Но он был. И он ждал.

На следующий день я села в автобус, идущий к центральной тюрьме. Салон был набит битком. Пахло потом, пылью и дешевым маслом для волос. Рядом со мной сидела пожилая женщина с огромным мешком, из которого торчали стебли маниока. Она посмотрела на мою сумку, потом мне в лицо и едва заметно кивнула.

— К сыну? — спросила она тихо.

— К мужу, — ответила я.

— Мой сын там уже пять лет, — сказала она, глядя в окно на проплывающие холмы. — Он говорит, что ничего не делал. Что просто стоял на блокпосту.

Она замолчала, и я поняла, что она знает правду. Матери всегда знают. Она носила ему еду не потому, что верила в его невиновность, а потому, что он был ее плотью. Биология сильнее морали. Пуловина не перерезается приговором суда.

Мы проезжали мимо полей, где люди работали мотыгами. Земля была красной, жирной. Она впитала все. Теперь она рожала кукурузу и фасоль. Жизнь брала свое с пугающей, безжалостной силой. Природа не знала траура. Ей было все равно, чьи кости удобряют почву — праведников или грешников.

Тюрьма возникла на горизонте как кирпичный город внутри города. Высокие стены, увенчанные спиралями колючей проволоки. Вышки с вооруженными охранниками. И цвет. Розовый. Вся территория внутри, видимая через ворота, была заполнена розовым цветом. Тысячи мужчин в одинаковых робах сидели на корточках во дворе, ходили, стояли группами. Этот цвет, который раньше ассоциировался у меня с цветами бугенвиллии или платьями маленьких девочек, теперь стал цветом кары.

Очередь на вход была длинной. Женщины, старики, дети. Все с сумками, пакетами, ведрами. Охранники проверяли передачи лениво, привычно. Они тыкали палками в мешки с мукой, разламывали хлеб, нюхали бутылки с водой.

— Имя заключенного? — спросил охранник, когда подошла моя очередь.

Он был молод, слишком молод, чтобы помнить девяносто четвертый год как взрослый. Для него это была просто работа.

— Жан Хабимана, — произнесла я.

Это имя прозвучало чужим на моем языке. Я не произносила его вслух много лет. Охранник провел пальцем по списку в толстой, засаленной тетради.

— Сектор четыре. Ждите вызова.

Я прошла во внутренний двор для посетителей. Это было пространство, отгороженное сеткой рабицей. С одной стороны стояли мы, с другой должны были привести их. Воздух здесь был густым от ожидания и тревоги. Я смотрела на сетку. Ячейки были мелкими, ржавыми. Они дробили мир на тысячи маленьких ромбов.

Я пыталась представить его лицо. Каким он стал? Постарел? Похудел? Остались ли у него очки, или он щурится, глядя на мир подслеповатыми глазами? Я вспомнила его лицо в тот последний раз, на дороге у болота. Лицо, лишенное выражения. Лицо-маску. Боюсь ли я увидеть это снова? Нет. Страх ушел. На его место пришло холодное, почти научное любопытство. Я хотела посмотреть на него как исследователь смотрит на образец вируса в пробирке. Я хотела понять анатомию предательства. Как человек, который читал мне стихи, смог превратиться в существо, способное перешагнуть через собственную семью?

Вокруг меня происходили встречи. Плач, смех, быстрый шепот. Женщины просовывали пальцы сквозь сетку, пытаясь коснуться рук своих мужей. Кто-то показывал младенца. Кто-то передавал новости о урожае. Жизнь продолжалась даже здесь, в этом чистилище. Эта нормальность ужасала меня больше всего. Люди адаптировались к немыслимому. Геноцид стал просто фактом биографии, неудобным обстоятельством, которое нужно пережить, как засуху.

В толпе розовых роб началось движение. Охранник выкрикнул номер. Я сжала ручку сумки так, что побелели костяшки пальцев. Из массы одинаковых, безликих фигур отделилась одна. Человек шел медленно, слегка прихрамывая. Он был худым, его шея казалась слишком тонкой для воротника робы. Голова была обрита наголо, и это делало его уши неестественно большими, торчащими. Он подошел к сетке и остановился. Он не искал меня глазами. Он знал, где я стою. Словно чувствовал.

Он поднял голову. Очков не было. Его глаза, окруженные сеткой морщин, смотрели прямо на меня. В них не было той пустоты, что я видела на болоте. В них было что-то другое. Что-то влажное, темное, тяжелое. Это был Жан. И это был не Жан. Это был незнакомец, который носил черты моего мужа.

Я не сделала шага навстречу. Я стояла, чувствуя, как земля под ногами становится зыбкой. Между нами было два метра пустоты и ржавая сетка. Но на самом деле между нами лежала пропасть, заполненная телами. И ни один мост, ни одно слово, ни одно письмо не могли соединить эти два берега.

Он положил руки на сетку. Его пальцы были грубыми, с вьевшейся грязью под ногтями. Те самые руки, которые когда-то листали книги. Те самые руки, которые держали мачете. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но звук утонул в общем гуле голосов. Я видела только движение его губ. Он произнес мое имя. «Има».

В этот момент я поняла, что прощение невозможно не потому, что я зла. А потому, что прощать некому. Того человека, которого я любила, больше не существовало. Он умер в апреле девяносто четвертого года, когда впервые включил радио на полную громкость и согласился с тем, что я — таракан. Передо мной стояла оболочка, наполненная страхом и последствиями.

Я сделала вдох. Воздух пах пылью и дешевым табаком. Я подняла сумку с продуктами. Это было единственное, что я могла сделать. Накормить тело, раз уж душа была мертва. Я подошла к сетке.

— Я принесла тебе мыло, — сказала я. Мой голос был ровным, спокойным. Голос постороннего. — И бананы.

Он кивнул. По его щеке, оставляя светлую дорожку на грязной коже, скатилась слеза. Но эта слеза не вызвала во мне жалости. Она была просто водой. Физиологической жидкостью, выделяемой организмом в ответ на стресс. Мы стояли друг напротив друга, разделенные металлом, историей и миллионом несказанных слов. И в этой тишине, среди шума тюремного двора, я вдруг отчетливо услышала, как где-то далеко, в моей памяти, захлопнулась тяжелая железная дверь.

Глава 16. Голос между холмами

Комната для свиданий в центральной тюрьме Кигали не похожа на комнату. Это длинный коридор под навесом из гофрированного железа, разделенный надвое той самой ржавой сеткой, которую я видела вчера. Но сегодня меня пустили внутрь, в зону «контакта». Здесь нет столов, только низкие деревянные скамьи, отполированные тысячами тел. Воздух здесь стоит плотный, неподвижный, пропитанный запахом невымытых тел и старого страха, который вьелся в бетонный пол.

Жан сидит на краю скамьи. Его колени острые, обтянутые розовой тканью, которая висит на нем мешком. Когда я подхожу, он не встает. Он делает движение, похожее на попытку подняться, но тут же оседает обратно, словно гравитация в этом месте действует сильнее, чем снаружи.

Я сажусь напротив. Между нами полметра. Расстояние, достаточное для шепота, но непреодолимое для прикосновения. Я смотрю на его руки. Они лежат на коленях, сцепленные в замок. Костяшки побелели. На левом запястье, там, где раньше были часы, осталась полоска более светлой кожи — след времени, которое остановилось десять лет назад.

— Ты пришла, — говорит он. Его голос звучит сухо, как треск сухой ветки под ногой. Это не тот баритон, который читал лекции о колониальном периоде. Это голос человека, который разучился говорить длинными фразами.

— Ты просил, — отвечаю я.

Мы молчим. Вокруг нас гудит улей человеческого горя. Слева плачет женщина, прижимая к груди фотографию. Справа двое мужчин спорят о продаже земельного участка. Этот бытовой шум создает странный кокон, внутри которого наша тишина кажется оглушительной.

— Я думал, ты погибла, — произносит Жан, глядя куда-то в район моего плеча. — Когда я вернулся на дорогу... потом... там никого не было. Только следы в грязи.

— Мы ушли глубже, — говорю я. — В топь.

— Это хорошо. — Он кивает, и это движение кажется механическим, дерганым. — Это хорошо. Я надеялся.

Я смотрю на него и пытаюсь найти в этом изможденном, бритом наголо человеке того, кого я любила. Я ищу знакомые черты, как археолог ищет фундамент разрушенного здания. Вот шрам над бровью — он упал с велосипеда в восемьдесят девятом. Вот родинка на шее. Физическая оболочка та же. Но внутри темно.

— Почему, Жан? — спрашиваю я.

Это единственный вопрос, который имеет значение. Все остальные — «как ты жил», «что ты ел», «болен ли ты» — бессмысленны. Он знает, о чем я спрашиваю. Он не притворяется. Он снимает очки — дужка все так же замотана синей изолентой, только теперь она грязная — и протирает стекла краем рубы.

— Я не знаю, Има. — Он поднимает на меня глаза, и я вижу в них не злобу, а растерянность. Искреннюю, детскую растерянность. — Сейчас, когда я сижу здесь, я не знаю. Но тогда... тогда все было по-другому.

— Как по-другому? — Я не даю ему спрятаться за общими фразами. — Небо было другим? Или мачете были из резины?

— Воздух, — шепчет он. — Воздух был отравлен. Ты не понимаешь... Ты была жертвой, ты пряталась. А мы... мы были внутри этого радиоприемника. Голоса были везде. Они говорили, что если мы не сделаем это, то вы сделаете это с нами. Они говорили так убедительно. Профессора, министры... Я думал: кто я такой, чтобы спорить с историей?

«История». Он снова использует это слово как щит.

— Ты был учителем, Жан. Ты должен был учить детей фактам, а не мифам.

— Я испугался, — выдыхает он, и это признание звучит страшнее любой идеологии. — Я просто испугался. Когда они пришли ко мне в школу и дали список... Я увидел там имена своих учеников. И я подумал: если я откажусь, мое имя будет следующим. Я хотел жить. Я хотел, чтобы ты жила. Я думал, если я покажу лояльность, если я пойду с ними на патрулирование, они не тронут мой дом.

— Ты хотел купить мою жизнь ценой жизни других? — Мой голос дрожит, но я держу его под контролем.

— Да, — твердо говорит он. — Да. Это была сделка. Я думал, что смогу обмануть дьявола. Я думал, что буду просто ходить с ними, делать вид... Но потом... потом ты

делаешь один шаг, потом второй. И ты уже не можешь остановиться. Кровь пьянит, Има. Страх пьянит. Ты перестаешь быть собой. Ты становишься частью толпы. А у толпы нет совести.

Я слушаю его исповедь, и мне становится холодно. Передо мной сидит не монстр. Передо мной сидит обыватель. Слабый, напуганный человек, который сломался под давлением. Ханна Арендт писала о банальности зла, но читать об этом в книге и видеть это в глазах собственного мужа — разные вещи. Его зло было трусливым, приспособленческим.

— А на болоте? — спрашиваю я. — Когда ты стоял над нами. Ты видел нас. Ты видел Лейю.

Его лицо искажается судорогой.

— Я видел, — шепчет он. — И в тот момент я умер. Тот Жан, которого ты знала, умер там, на насыпи. Я не мог вас выдать. Но я не мог и спасти вас открыто. Если бы я подал руку, они бы убили нас всех троих прямо там. Патрик стоял сзади, у него был пистолет. Я выбрал единственное, что мог — сказать, что там никого нет. Я подарил вам шанс.

— Ты назвал нас дохлой собакой. — Я должен был говорить на их языке. Чтобы они поверили.

Он тянется ко мне через скамью, но не касается. Его руки дрожат.

— Има, я виновен. Я знаю это. Я убивал. Я не буду врать тебе. Я убил Гатаре. Я убил того старика у церкви. Я помню каждое лицо. Они приходят ко мне ночью, здесь, в камере. Я не прошу прощения. Такое не прощают. Я просто хотел, чтобы ты знала: я не ненавижу тебя. Никогда. Я был болен. Мы все были больны. Это было как лихорадка, как наваждение. Радио... оно выключило мой мозг.

Я смотрю на него и понимаю, что он говорит правду. Свою правду. Он действительно верит, что был болен. Это удобная позиция. Болезнь снимает ответственность. Вирус пропаганды заразил его, и он действовал в бреду. Но я знаю, что у человека всегда есть выбор. Даже в аду есть выбор — не нажимать на курок, промахнуться, убежать. Он выбрал конформизм.

— Где наш ребенок? — спрашивает он вдруг. — Ты была беременна. Я помню.

Этот вопрос висел в воздухе с самого начала. Я ждала его.

— Его нет, — говорю я ровно. — Я потеряла его в болоте. На третий день. После того, как мы убежали.

Жан закрывает лицо руками. Его плечи начинают трястись. Он не издает ни звука, но я вижу, как его тело сжимается, словно от удара.

— Мальчик? — спрашивает он сквозь пальцы.

— Я не знаю. Было слишком рано. И слишком грязно.

Он сидит так долго, раскачиваясь из стороны в сторону. Я не утешаю его. У меня нет для него утешения. Его горе — это его наказание. Он убил не только чужих людей. Он убил свое будущее. Он убил возможность быть отцом.

— Лейя? — спрашивает он наконец, вытирая лицо ладонью.

— Она... она помнит меня?

— Она помнит человека с мачете, — отвечаю я жестоко. — Она долго молчала, Жан. Годы. Она только сейчас начала говорить. Но она никогда не спрашивает о тебе. Для нее ты остался там, в девяносто четвертом.

— Это правильно, — кивает он. — Пусть так и будет. Не говори ей, что я здесь. Не приводи ее сюда. Я не хочу, чтобы она видела меня в этом. Пусть думает, что я погиб на войне. Так будет честнее.

Время свидания подходит к концу. Охранник в конце коридора стучит дубинкой по решетке, подавая сигнал. Жан поднимает на меня глаза. В них больше нет слез. В них только огромная, серая усталость.

— Я получу пожизненное, — говорит он спокойно. — Или двадцать лет, если зачтут признание. Я не выйду отсюда, Има. Я умру в этих стенах. И это справедливо. Но я хочу попросить тебя об одном.

— О чем?

— Живи. Не будь как я. Не дай этому яду остаться в тебе. Выключи радио. Выбрось его. Пусть Лейя растет без ненависти. Если ты сможешь это сделать... значит, я не все уничтожил.

Я встаю. Мои ноги затекли от сидения на жесткой скамье. Я смотрю на него сверху вниз.

— Радио выключено, Жан, — говорю я. — Но эхо осталось. Мы живем в этом эхе. И мы будем жить в нем всегда. Но мы научимся различать в нем свой собственный голос.

Я не говорю «прощай». Я просто поворачиваюсь и иду к выходу. Я не оглядываюсь. Я знаю, что он смотрит мне в спину. Я чувствую его взгляд, как физическое касание, но оно больше не обжигает. Оно просто есть. Как шрам.

Выход из тюрьмы похож на всплытие с глубины. Яркий солнечный свет бьет по глазам, заставляя щуриться. Я делаю глубокий вдох, наполняя легкие свободой.

Я сажусь в автобус, идущий в Ньямирамбо. Он полупустой. Я занимаю место у окна. Мимо проплывают холмы. Они зеленые, спокойные, безмятежные. Террасы полей поднимаются по склонам, как ступени в небо. Женщины в ярких платках работают мотыгами, сгибаясь в ритме вечной крестьянской работы.

Я смотрю на эти холмы и думаю о том, что они скрывают. Под этой сочной травой, под корнями банановых пальм лежат кости. Земля Руанды — это огромный склеп. Но поверх этого склепа растет жизнь. Это не кощунство. Это закон природы. Трава не знает вины. Она просто растет.

Встреча с Жаном что-то изменила во мне. Она закрыла дверь в прошлое. Я больше не жду. Я больше не гадаю. Я увидела, что зло — это не мистическая сила, а слабость, помноженная на пропаганду. Жан не был одержим демонами. Он был одержим конформизмом. И это знание освобождает меня. Я не могу простить его поступок, но я могу отпустить его призрак.

Я возвращаюсь домой. Лейя сидит на крыльце и чистит фасоль. Ей уже семнадцать. Она высокая, тонкая, с моими глазами и лбом отца. Она слышит мои шаги и поднимает голову.

— Ты была там? — спрашивает она.

Я замираю. Я не говорила ей, куда еду. Но она знает. Дети, пережившие войну, обладают шестым чувством на ложь и тайны.

— Да, — отвечаю я, садясь рядом на ступеньку.

— Ты видела его?

— Да.

Она молчит, перебирая фасолины. Пурпурные зерна падают в металлическую миску со звонким стуком. Дзынь. Дзынь.

— Он вернется? — В ее голосе нет страха, только настороженность.

— Нет, — говорю я твердо. — Он не вернется. Это прошлое, Лейя. Мы оставили его там.

Она кивает и продолжает работу. Ее плечи расслабляются. Я вижу, как напряжение уходит из ее тела. Она получила ответ. Точка поставлена.

— Мама, — говорит она спустя минуту. — Я написала стихотворение. Хочешь послушать?

— Очень хочу.

Она откладывает миску, вытирает руки о юбку и начинает читать. Ее голос тихий, но уверенный. Она читает не о крови и не о мачете. Она читает о дожде, который стучит по крыше. О запахе мокрой земли. О том, как утром туман поднимается из долины, открывая солнце. Я слушаю ее и понимаю, что это и есть победа. Не суды, не тюрьмы, не приговоры. Победа — это то, что моя дочь пишет стихи о красоте мира, который пытался ее убить.

Вечером, когда Лейя засыпает, я сажусь за свой стол. Передо мной лежит стопка исписанных листов. Моя книга. Мое свидетельство. Я беру ручку. Мне нужно написать последние строки. Я не хочу заканчивать моралью. Я не хочу писать пафосные слова о «никогда больше». История показала, что «никогда больше» случается снова и снова, если мы теряем бдительность.

Я пишу о тишине. О той тишине, которая наступает после выключения радио. Это не пустая тишина. Это пространство для выбора. Каждый день, просыпаясь, мы выбираем, кем быть. Мы выбираем слова, которые произносим. Мы выбираем, открыть дверь соседу или запереть ее. Геноцид начинается не с мачете. Он начинается со слов. С разделения на «мы» и «они». С шутки, которая унижает. С молчания, когда нужно говорить.

Я смотрю в окно. Ночь опустилась на Кигали. Огни города мерцают на холмах, как отражение звездного неба. Там, в этих домах, живут люди. Жертвы и палачи. Вдовы и

сироты. Те, кто помнит, и те, кто хочет забыть. Мы все связаны одной землей, одной водой, одной памятью. Мы — шрамы на теле этой страны. Шрамы не болят, но они напоминают о том, где была рана. Они делают кожу грубее, но и прочнее.

Я дописываю последнее предложение. Я ставлю точку. Это не конец истории. История не имеет конца. Это просто остановка дыхания перед новым вдохом. Я откладываю ручку. Я выключаю лампу. В темноте я слышу, как дышит моя дочь в соседней комнате. Ровно. Спокойно. И я слышу, как за окном начинается дождь. Он падает на жестяную крышу, смывая пыль, смывая следы, наполняя реки. Это голос между холмами. Голос жизни, которая продолжается вопреки всему. Я закрываю глаза и слушаю этот голос. Теперь он звучит чисто. Без помех.